ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС
Большие надежды
АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Чарльз Диккенс

Большие надежды

«Азбука-Аттикус»
1861

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Диккенс Ч.

Большие надежды / Ч. Диккенс — «Азбука-Аттикус», 1861 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-24280-7

Творчество Чарльза Диккенса – классика английской литературы – целая эпоха в развитии национальной культуры Англии. Почитаемый во всем мире, большой любовью и признанием Диккенс всегда пользовался и в России. Своим любимым писателем его называл Ф. М. Достоевский. Л. Н. Толстой ставил романы Диккенса в первый ряд мировой литературы, считая, что они отвечают основным требованиям, которые следует предъявлять к произведениям искусства: им присущи значительность содержания, мастерство формы, искренность и «нравственное отношение автора к предмету». В романе «Большие надежды» – одном из последних произведений Диккенса, жемчужине его творчества – рассказана история жизни и крушения надежд молодого Филиппа Пиррипа, прозванного в детстве Пипом. Мечты Пипа о карьере, любви и благополучии в «мире джентльменов» разбиваются в один миг, едва он узнает страшную тайну своего неизвестного покровителя, которого преследует полиция. Деньги, окрашенные кровью и отмеченные печатью преступления, как убеждается Пип, не могут принести счастья. Но что в таком случае может? И куда заведут героя его мечты и большие надежды?

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-24280-7

© Диккенс Ч., 1861
© Азбука-Аттикус, 1861

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 73

Чарльз Диккенс
Большие надежды

© М. Ф. Лорие (наследник), перевод, комментарии, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство АЗБУКА®

ГЛАВА I

Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.

О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись: «А также Джорджиана, супруга вышереченного» – вызывала в моем детском воображении образ матери – хилой, веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.

Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, – кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, – это болота; что замыкающая их свинцовая полоска – река; далекое логово, где родится свирепый ветер, – море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, – Пип.

– А ну, замолчи! – раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек. – Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!

Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.

– Ой, не режьте меня, сэр! – в ужасе взмолился я. – Пожалуйста, сэр, не надо!

– Как тебя звать? – спросил человек. – Ну, живо!

– Пип, сэр.

– Как, как? – переспросил человек, сверля меня глазами. – Повтори.

– Пип. Пип, сэр.

– Где ты живешь? – спросил человек. – Покажи!

Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.

Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на место, – а он был до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками, так что колокольня очутилась у меня под ногами, – так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб.

– Ух ты, щенок, – сказал человек, облизываясь. – Надо же, какие толстые щеки!

Возможно, что они и правда были толстые, хотя я в ту пору был невелик для своих лет и не отличался крепким сложением.

– Так бы вот и съел их, – сказал человек и яростно мотнул головой, – а может, черт подери, я и взаправду их съем.

Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил, – отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.

– Слышь, ты, – сказал человек. – Где твоя мать?

– Здесь, сэр, – сказал я.

Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.

– Вот здесь, сэр, – робко пояснил я. – «Также Джорджиана». Это моя мать.

– А-а-а, – сказал он, возвращаясь. – А это, рядом с матерью, твой отец?

– Да, сэр, – сказал я. – Он тоже здесь: «Житель сего прихода».

– Так, – протянул он и помолчал. – С кем же ты живешь или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.

– С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.

– Кузнеца, говоришь? – переспросил он. И посмотрел на свою ногу.

Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.

– Теперь слушай меня, – сказал он, – и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилок, ты знаешь?

– Да, сэр.

– А что такое жратва, знаешь?

– Да, сэр.

После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.

– Ты мне достанешь подпилок. – Он тряхнул меня. – И достанешь жратвы. – Он снова тряхнул меня. – И принесешь все сюда. – Он снова тряхнул меня. – Не то я вырву у тебя сердце с печенкой. – Он снова тряхнул меня.

Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:

– Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.

Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:

– Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне

некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему подберется, да и зарежет!.. Мне и сейчас-то, знаешь, как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?

Я сказал, что достану ему подпилок, и еды достану, сколько найдется, и принесу на батарею рано утром.

– Повтори за мной: «Разрази меня Бог, если вру», – сказал человек.

Я повторил, и он снял меня с камня.

– А теперь, – сказал он, – не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.

– П-покойной ночи, сэр, – пролепетал я.

– Покойной! – сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину. – Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.

Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковылял к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.

Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее, – видно было, что ноги у него затекли и онемели, – а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.

Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только пouже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз мой едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли, – очень безобразный, если подойти к нему поближе, словно бочка, надетая на шест; и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.

ГЛАВА II

Моя сестра миссис Джо Гарджери была меня старше более чем на двадцать лет и заслужила уважение в собственных глазах и в глазах соседей тем, что воспитала меня «своими руками». Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали «своими руками».

Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками. У Джо Гарджери, светловолосого великана, льняные кудри обрамляли чистое лицо, а голубые глаза были до того светлые, как будто их синева нечаянно перемешалась с их же белками. Это был золотой человек, тихий, мягкий, смирный, покладистый, простоватый, Геркулес и по силе своей, и по слабости.

У моей сестры, миссис Джо, черноволосой и черноглазой, кожа на лице была такая красная, что я порою задавал себе вопрос: уж не моется ли она теркой вместо мыла? Была она рослая, костлявая и почти всегда ходила в толстом переднике с лямками на спине и квадратным нагрудником вроде панциря, сплошь утыканным иголками и булавками. То, что она постоянно носила передник, она ставила себе в великую заслугу и вечно попрекала этим Джо. Я, впрочем, не вижу, зачем ей вообще нужно было носить передник или почему, раз уж она его носила, ей нельзя было ни на минуту с ним расстаться.

Кузница Джо примыкала к нашему дому, а дом был деревянный, как и многие другие, – вернее, как почти все дома в нашей местности в то время. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была закрыта и Джо сидел один в кухне. Так как мы с Джо были товарищами по несчастью и у нас не было секретов друг от друга, он и тут шепнул мне кое-что, едва я, приподняв щеколду и заглянув в щелку, увидел его в углу у очага, как раз против двери.

– Миссис Джо раз двенадцать, не меньше, выходила тебя искать, Пип. Сейчас опять пошла, как раз будет чертова дюжина.

– Ой, правда?

– Правда, Пип, – сказал Джо. – И хуже того, она Щекотун с собой захватила.

Услышав эту печальную весть, я совсем упал духом и, глядя в огонь, стал крутить единственную пуговицу на своей жилетке. Щекотун – это была трость с навощенным концом, до блеска отполированная частым щекотанием моей спины.

– Она тут сидела, – сказал Джо, – а потом как вскочит, да как схватит Щекотун, да и побежала лютовать на улицу. Вот так-то, – сказал Джо, глядя в огонь и помешивая угли просунутой через решетку кочергой. – Взяла да и побежала, Пип.

– Она давно ушла, Джо? – Я всегда видел в нем равного себе, такого же ребенка, только побольше ростом.

Джо взглянул на стенные часы.

– Да наверно, уже минут пять как лютует. Ого, идет! Прячься за дверь, дружок, да завесься полотенцем.

Я послушался его совета. Моя сестра миссис Джо распахнула дверь и, почувствовав, что она не отворяется до конца, немедленно угадала причину и стала ее обследовать с помощью Щекотуна. Кончилось тем, что она швырнула мною в Джо, – в семейном обиходе я нередко служил ей метательным снарядом, – а тот, всегда готовый принять меня на любых условиях, спокойно усадил меня в уголок и загородил своим огромным коленом.

– Где тебя носило, постреленок? – сказала миссис Джо, топнув ногой. – Сейчас же говори, где ты шатался, пока я тут места себе не находила от беспокойства да страха, а не то выволоку тебя из угла, будь вас тут хоть полсотни Пипов и целая сотня Гарджери.

– Я только ходил на кладбище, – сказал я, плача и потирая побитые места.

– На кладбище! – повторила сестра. – Кабы не я, ты бы давно был на кладбище. Кто тебя воспитал своими руками?

– Вы, – сказал я.

– А для чего это мне понадобилось, скажи на милость? – продолжала сестра.

Я всхлипнул:

– Не знаю.

– Ну и я не знаю, – сказала сестра. – В другой раз ни за что бы не стала. Это-то я знаю наверняка. С тех пор как ты родился, я вот этот передник, можно сказать, никогда не снимала.

Мало мне горя, что я кузнецова жена (да притом муж-то Гарджери), так нет, изволь еще тебе быть матерью!

Но я уже не прислушивался к ее словам. Я уныло смотрел на огонь, и в злобно мерцающих углях передо мной вставали болота, беглец с тяжелой цепью на ноге, его таинственный приятель, подпилок, жратва и связывавшая меня страшная клятва обворовать родной дом.

– Н-да! – сказала миссис Джо, водворяя Щекотун на место. – Кладбище! Легко вам говорить «кладбище»! – Один из нас, кстати сказать, не произнес ни слова. – Скоро я по вашей милости сама попаду на кладбище, и хороши вы, голубчики, будете без меня! Нечего сказать, славная парочка!

Воспользовавшись тем, что она стала накрывать на стол к чаю, Джо заглянул через свое колено ко мне в уголок, словно прикидывая в уме, какая из нас получится парочка, в случае если осуществится это мрачное пророчество. Потом он выпрямился и, как обычно бывало во время домашних бурь, стал молча следить за миссис Джо своими голубыми глазами, правой рукой теребя свои русые кудри и бакены.

У моей сестры был особый, весьма решительный способ готовить нам хлеб с маслом. Левой рукой она крепко прижимала ковригу к нагруднику, откуда в нее иногда впивалась иголка или булавка, которая затем попадала нам в рот. Потом брала на нож масла (не слишком много) и размазывала его по хлебу, как аптекарь готовит горчичник, проворно поворачивая нож то одной, то другой стороной, аккуратно подправляя и обирая масло у корки. Наконец, ловко отерев нож о край горчичника, она отпиливала от ковриги толстый ломоть, рассекала его пополам и одну половину давала Джо, а другую мне.

В тот вечер я не посмел съесть свою порцию, хоть и был голоден. Нужно было приберечь что-нибудь для моего страшного знакомца и его еще более страшного приятеля. Я знал, что миссис Джо придерживается строжайшей экономии в хозяйстве и что моя попытка стащить у нее что-нибудь может окончиться ничем. Поэтому я решил на всякий случай спустить свой хлеб в штанину.

Оказалось, что отвага для выполнения этого замысла требуется почти сверхчеловеческая. Словно мне предстояло спрыгнуть с крыши высокого дома или броситься в глубокий пруд. И еще больше затруднял мою задачу ничего не подозревавший Джо. Оттого, что мы, как я уже упоминал, были товарищами по несчастью и в своем роде заговорщиками, и оттого, что он по доброте своей всегда рад был меня позабавить, мы завели обычай – сравнивать, кто быстрее съест хлеб: за ужином мы украдкой показывали друг другу свои надкусанные ломти, а потом старались еще пуще. В тот вечер Джо несколько раз вызывал меня на это дружеское состязание, показывая мне свой быстро убывающий ломоть; но всякий раз он убеждался, что я держу свою желтую кружку с чаем на одном колене, а на другом лежит мой хлеб с маслом, далее не початый. Наконец, собравшись с духом, я решил, что больше медлить нельзя и что будет лучше, если неизбежное свершится самым естественным при данных обстоятельствах образом. Я улучил минуту, когда Джо отвернулся от меня, и спустил хлеб в штанину.

Джо явно огорчился, вообразив, что я потерял аппетит, и рассеянно откусил от своего хлеба кусок, который, казалось, не доставил ему никакого удовольствия. Он гораздо дольше обычного жевал его, что-то при этом обдумывая, и наконец проглотил, как пилюлю. Потом, нагнув голову набок, чтобы получше примериться к следующему куску, он невзначай поглядел на меня и увидел, что мой хлеб исчез.

Изумление и ужас, изобразившиеся на лице Джо, когда он, не успев донести ломоть до рта, впился в меня глазами, не ускользнули от внимания моей сестры.

– Что там еще случилось? – сварливо спросила она, отставляя свою чашку.

– Ну, знаешь ли! – пробормотал Джо, укоризненно качая головой. – Пип, дружок, ты себе этак и повредить можешь. Он где-нибудь застрянет. Ты ведь не прожевал его, Пип.

– Что еще случилось? – повторила сестра, повысив голос.

– Я тебе советую, Пип, – продолжал ошеломленный Джо, – ты покашляй, может, хоть немножко да выскочит. Ты не смотри, что это некрасиво, ведь здоровье-то важнее.

Тут сестра моя совсем взбеленилась. Она налетела на Джо, схватила его за бакенбарды и стала колотить головой об стену, а я виновато взирал на это из своего угла.

– Теперь ты, может быть, скажешь мне, что случилось, боров ты пучеглазый, – выговорила она, переводя дух.

Джо рассеянно посмотрел на нее, потом так же рассеянно откусил от своего ломтя и опять уставился на меня.

– Ты ведь знаешь, Пип, – торжественно произнес он, засунув хлеб за щеку и таким таинственным тоном, словно, кроме нас, в комнате никого не было, – мы с тобой друзья, и не стал бы я никогда тебя выдавать. Но чтобы так… – он отодвинул свой стул, посмотрел на пол, потом опять перевел глаза на меня, – чтобы враз проглотить целый ломоть…

– Опять глотает не прожевав? – крикнула сестра.

– Ты пойми, дружок, – сказал Джо, глядя не на миссис Джо, а на меня и все еще держа свой кусок за щекой, – я в твоем возрасте и сам так озорничал и много мальчишек видел, которые этакие штуки выкидывали; но такого я сроду не запомню, Пип, и счастье еще, что ты жив остался.

Сестра коршуном налетела на меня и за волосы вытащила из угла, ограничившись зловещими словами:

– Открой рот.

В те дни какой-то злодей-доктор воскресил репутацию дегтярной воды как лучшего средства от всех болезней, и миссис Джо всегда держала ее про запас на полке буфета, твердо веря, что ее лечебные свойства вполне соответствуют тошнотворному вкусу. Этот целительный эликсир давали мне в таких количествах, что, боюсь, порою от меня несло дегтем, как от нового забора. В тот вечер, ввиду серьезности заболевания, дегтярной воды потребовалась целая пинта, каковую в меня и влили, для чего миссис Джо зажала мою голову под мышкой, словно в тисках. Джо отделался половинной дозой, которую его, однако, заставили проглотить (к великому его расстройству, – он размышлял о чем-то у огня, медленно дожевывая хлеб), потому что его «схватило». Судя по собственному опыту, могу предположить, что схватило его не до приема лекарства, а после.

Укоры совести тяжелы и для взрослого, и для ребенка; когда же у ребенка к одному тайному бремени прибавляется еще и другое, спрятанное в штанине, это – могу засвидетельствовать – поистине суровое испытание. От греховной мысли, что я намерен обокрасть миссис Джо (что я намерен обокрасть самого Джо, мне и в голову не приходило, потому что я никогда не считал его хозяином в доме), а также от необходимости и сидя, и на ходу все время придерживать рукою хлеб, я едва не лишился рассудка. А когда угли в очаге разгорались и вспыхивали от ветра, налетавшего с болот, мне чудился за дверью голос человека с цепью на ноге, который связал меня страшной клятвой и теперь говорил, что не может и не хочет голодать до утра, а подавай ему есть сейчас же. Беспокоил меня и его приятель, так жаждавший моей крови, – а вдруг у него не хватит терпения или же он по ошибке решит, что может угоститься моим сердцем и печенкой не завтра, а уже сегодня. Да, если у кого-нибудь волосы вставали дыбом от ужаса, так, наверно, у меня в тот вечер. Но может, это только так говорится?

Дело было в сочельник, и меня заставили от семи до восьми, по часам, месить скалкой рождественский пудинг. Я попробовал месить с грузом на ноге (при этом лишний раз вспомнив про груз на ноге того человека), но от каждого моего движения хлеб неудержимо стремился выскочить наружу. К счастью, мне удалось под каким-то предлогом ускользнуть из кухни и спрятать его у себя в каморке под крышей.

– Что это? – спросил я, когда, покончив с пудингом, сел у огня погреться, пока меня не погнали спать. – Это пушка стреляет, Джо?

– Угу, – ответил Джо. – Опять арестант дал тягу.

– Что ты сказал, Джо?

Миссис Джо, всегда предпочитавшая сама давать объяснения, отчеканила: «Сбежал. Утек» – так же безапелляционно, как поила меня дегтярной водой.

Видя, что миссис Джо снова склонилась над своим рукоделием, я беззвучно, одними губами, спросил у Джо: «Что такое арестант?» – а он, тоже одними губами, произнес в ответ длинную фразу, из которой я разобрал только одно слово – Пип.

– Один арестант дал тягу вчера вечером, после заката, – сказал Джо вслух. – Они тогда стреляли, чтобы оповестить об этом. Теперь, видно, оповещают о втором.

– Кто стрелял? – спросил я.

– Вот несносный мальчишка, – вмешалась сестра, оторвавшись от работы и строго взглянув на меня, – вечно он лезет с вопросами. Кто вопросов не задает, тот лжи не слышит.

Я подумал, как невежливо она говорит о себе, – значит, если я буду задавать вопросы, то услышу от нее ложь. Но вежливой она бывала только при гостях.

Тут Джо еще подлил масла в огонь: широко раскрыв рот, он старательно изобразил губами слово, которое я истолковал как «блажит». Я, натурально, показал на миссис Джо и произнес одним придыханием: «Она?» Но Джо и слышать об этом не хотел и, снова разинув рот, нечеловеческим усилием выдавил из себя какое-то слово, какое – я так и не понял.

– Миссис Джо, – обратился я с горя к сестре, – объясните, пожалуйста, – мне очень интересно, – откуда это стреляют?

– Господи помилуй! – воскликнула сестра так, словно она просила для меня у Господа чего угодно, но только не помилования. – Да с баржи!

– А-а-а, – протянул я, глядя на Джо. – С баржи!

Джо укоризненно кашлянул, словно хотел сказать:

«Я же так и говорил!»

– А что это за баржа? – спросил я.

– Наказание с этим мальчишкой! – вскричала сестра, указывая на меня рукой, в которой держала иголку, и качая головой. – Ответишь ему на один вопрос, так он тебе еще десять задаст. Плавучая тюрьма на старой барже, что стоит за болотами.

– Интересно, кого сажают в эту тюрьму и за что, – сказал я с мужеством отчаяния, ни к кому особо не адресуясь.

Терпение у миссис Джо лопнуло.

– Вот что, голубчик, – сказала она, быстро вставая, – не для того я воспитала тебя своими руками, чтобы ты из людей душу выматывал. Не велика бы мне тогда была честь. В тюрьму людей сажают за убийство, за кражу, за подлоги, за разные хорошие дела, а начинают они всегда с того, что задают дурацкие вопросы. А теперь – марш в постель.

Брать с собой наверх свечу мне не разрешалось. Я ощупью поднимался по лестнице, в ушах у меня звенело, потому что миссис Джо, в подкрепление своих слов, наперстком отбивала дробь на моей макушке, и я с ужасом думал о том, как удобно, что плавучая тюрьма так близко от нас. Было ясно, что мне ее не миновать: я начал с дурацких вопросов, а теперь собираюсь обокрасть миссис Джо.

Много раз с того далекого дня я задумывался над этой способностью детской души глубоко затаить в себе что-то из страха, пусть совершенно неразумного. Я смертельно боялся кровожадного приятеля, зарившегося на мое сердце в печенку; я смертельно боялся моего знакомца с цепью на ноге; связанный страшной клятвой, я смертельно боялся самого себя и не надеялся на помощь моей всемогущей сестры, которая на каждом шагу шпыняла меня и осаживала. Страшно подумать, на какие дела меня можно было бы толкнуть, запугав и принудив к молчанию.

В ту ночь, едва я закрывал глаза, мне мерещилось, что быстрым течением меня несет прямо к старой барже; вот я проплываю мимо виселицы, и призрак пирата кричит мне в трубу, чтобы я выходил на берег, потому что меня давно пора повесить. Даже если бы мне хотелось спать, я бы боялся уснуть, помня, что, чуть рассветет, мне предстоит очистить кладовую. Ночью об этом нечего было и думать, – в то время зажечь свечу было не так-то просто; искру высекали огнивом, и я бы нашумел не меньше, чем сам пират, если бы он загромыхал своими цепями.

Едва только черный бархатный полог за моим оконцем начал бледнеть, я встал и отправился вниз, и каждая половица и каждая щель в половице кричала мне вслед: «Держи вора!», «Проснитесь, миссис Джо!». В кладовой, где по случаю праздника всякой снеди было больше обычного, меня сильно напугал заяц, подвешенный за задние ноги, – мне показалось, что он хитро подмигивает у меня за спиной. Однако проверить мое подозрение было некогда и долго выбирать было некогда: у меня не было ни минуты лишней. Я стащил краюху хлеба, остаток сыра, полбанки фруктовой начинки (завязав все это в носовой платок вместе с вчерашним ломтем), отлил немного бренди из глиняной бутыли в склянку, которая была припрятана у меня на предмет изготовления крепкого напитка – лакричной настойки, а бутыль долил из кувшина, стоявшего в кухонном буфете, стащил кость почти без мяса и великолепный круглый свиной паштет. Я совсем было ушел без паштета, но в последнюю минуту меня взяло любопытство, что это за миска, накрытая крышкой, стоит в самом углу на верхней полке, и там оказался паштет, который я и забрал в надежде, что он приготовлен впрок и его не сразу хватятся.

Из кухни была дверь прямо в кузницу; я отпер ее, отодвинул засов и среди инструментов Джо нашел подпилок. Потом снова задвинул все болты и засовы, открыл входную дверь и, затворив ее за собой, побежал в туман, на болота.

ГЛАВА III

Утро было мглистое и очень сырое. Еще вставая, я видел, что по оконному стеклу бегут струйки, словно бесприютный бесенок проплакал там всю ночь, уткнувшись в окошко вместо носового платка. Теперь было видно, как изморозь густой паутиной легла на голые ветки изгородей и чахлую траву, протянулась от сучка к сучку, от былинки к былинке. Ворота, заборы – все было липко от влаги, а с болот наползал такой густой туман, что прибитый к столбу деревянный палец, указывающий путникам дорогу в нашу деревню, – только путники, видно, не слушались его, потому что к нам никто никогда не заходил, – возник в воздухе, лишь когда я очутился прямо под ним. И пока я смотрел на стекающие с него капли, неспокойная совесть шептала мне, что это – призрак, навеки обрекающий меня плавучей тюрьме.

На болотах туман был еще плотнее, так что казалось, словно не я бежал навстречу предметам, а они выбегали мне навстречу. Помня о своей вине, я ощущал это особенно болезненно. Шлюзы, плотины и дамбы выскакивали на меня из тумана и явственно кричали: «Держи его! Мальчик украл свиной паштет!» Коровы, столь же внезапно налетая на меня, говорили глазами и выдыхали вместе с паром: «Попался, воришка!» Черный бык в белом галстуке – измученный угрызениями совести, я даже усмотрел в нем сходство с пастором – так пристально поглядел на меня и с таким укором помотал головой, что я обернулся и, всхлипнув, сказал ему: «Я не мог иначе, сэр! Я взял не для себя!» Тогда он, нагнув голову, выпустил из ноздрей целое облако пара, брыкнул задними ногами, взмахнул хвостом и исчез.

Я быстро приближался к реке, но, хотя я очень спешил, ноги у меня ничуть не согревались; ледяная сырость сковала их, как железо сковало ногу человека, на свидание с которым я бежал. Дорога на батарею была мне известна, – я ходил туда с Джо как-то в воскресенье, и Джо, сидя на старой пушке, еще сказал мне в тот раз, что, когда меня честь честью запишут к нему в подмастерья, то-то будет расчудесно! И все же, сбившись в тумане с пути, я забрал слишком далеко вправо, и мне пришлось возвращаться обратно берегом реки, по каменистой дорожке

вдоль илистой кромки и свай, задерживающих воду во время прилива. Стараясь не терять ни минуты, я живо перебрался через канаву, проходившую, как я помнил, совсем близко от батареи, и только что влез на противоположный откос, как увидел своего знакомца. Он сидел ко мне спиной, скрестив руки, и покачивался, словно во сне.

Решив устроить ему приятный сюрприз, я тихонько подошел к нему сзади и тронул его за плечо. Он мигом вскочил, и что же? Это был не тот человек, а совсем другой!

Однако у этого человека тоже была грубая серая одежда и железная цепь на ноге, и он хромал, и хрипел, и дрожал от холода совсем как тот; только лицо было другое, и на голове – широкополая шляпа с низкой тульей. Все это я увидел в одно мгновение, потому что всего мгновение и видел его: он выругался и хотел меня ударить, но лишь замахнулся неуверенным, слабым движением и сам едва удержался на ногах, а потом побежал прочь, в туман, два раза споткнулся, и тут я потерял его из виду.

«Это и есть тот приятель!» – подумал я, и у меня больно закололо в сердце. Вероятно, у меня и печенка бы заболела, если бы я только знал, где она находится.

Теперь мне оставалось добежать несколько шагов до батареи, где мой знакомец, поджидая меня, уже ковылял взад-вперед, обхватив себя руками, словно не прекращал этого занятия всю ночь. Он, как видно, совсем продрог. Я бы не удивился, если бы он тут же, не сходя с места, упал и замерз насмерть. Глаза у него были ужасно голодные: когда он, взяв у меня подпилок, положил его на траву, я даже подумал, что он, наверно, попытался бы его съесть, если бы не увидел моего узелка. На этот раз он не стал переворачивать меня вниз головой, а предоставил мне самому вывернуть карманы и развязать узелок.

– Что в бутылке, мальчик? – спросил он.

– Бренди.

Он уже начал набивать себе рот фруктовой начинкой – причем похоже было, что он не столько ест ее, сколько в страшной спешке убирает куда-то подальше, – но тут он сделал передышку, чтобы глотнуть из бутылки. Его так трясло, что, закусив горлышко бутылки зубами, он едва не отгрыз его.

– У вас, наверно, лихорадка, – сказал я.

– Скорей всего, мальчик.

– Тут очень нездоровое место, очень сырое, – сообщил я ему. – Вы лежали на земле, а этак ничего не стоит схватить лихорадку. Или ревматизм.

– Ну, я еще успею закусить, пока лихорадка меня не свалила, – сказал он. – Знай я, что меня за это вздернут вон на той виселице, я бы и то закусил. Настолько-то я справлюсь со своей лихорадкой.

Он глодал кость, заглатывал вперемешку мясо, хлеб, сыр и паштет, но все время зорко всматривался в окружавший нас туман, а порою даже переставал жевать, чтобы прислушаться.

Внезапно он вздрогнул – то ли услышал, то ли ему почудилось, как что-то звякнуло на реке или фыркнула какая-то зверюшка на болоте, – и спросил:

– А ты не обманул меня, чертенок? Никого с собой не привел?

– Нет, нет, сэр!

– И никому не наказывал идти за тобой следом?

– Нет!

– Ладно, – сказал он, – я тебе верю. Никудышным ты был бы щенком, ежели бы с этих лет тоже стал травить колодника несчастного, когда его и так затравили до полусмерти.

Что-то булькнуло у него в горле, как будто там были спрятаны часы, которые сейчас начнут бить, и он провел по глазам грязным, разодранным рукавом.

Мне стало очень жалко его, и, глядя, как он, покончив с остальным, всерьез принялся за паштет, я набрался храбрости и заметил:

– Я очень рад, что вам нравится.

– Ты что-нибудь сказал?

– Я сказал, я очень рад, что вам нравится паштет.

– Спасибо, мальчик. Паштет хоть куда.

Я часто смотрел, как ест наша большая дворовая собака, и теперь вспомнил ее, глядя на этого человека. Он ел торопливо и жадно – ни дать ни взять собака; глотал слишком быстро и слишком часто и все озирался по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь подбежит к нему и отнимет паштет. Мне думалось, что в таком волнении и спешке он его и не распробует как следует и что если бы он ел не один, то наверняка стал бы лязгать зубами на своего соседа. Все это в точности напоминало нашу собаку.

– А ему вы ничего не оставите? – осведомился я робко, после некоторого колебания, потому что опасался, как бы мои слова не показались ему невежливыми. – Ведь больше я ничего не могу вам достать. – Это я знал твердо и только потому и решился заговорить.

– Ему не оставлю? Кому это? – спросил он, сразу перестав хрустеть корочкой от паштета.

– Вашему приятелю. О котором вы говорили. Который у вас спрятан.

– Ах, ты вот о чем, – отвечал он с грубоватым смехом. – Ему-то? Так, так. Ну, он в еде не нуждается.

– А мне показалось, что нуждается, – сказал я.

Он оторвался от еды и в полном изумлении впился в меня глазами.

– Показалось? Когда это?

– Да вот только что.

– Где?

– Там, – указал я пальцем, – вон там; он спал, и я еще подумал, что это вы.

Он схватил меня за шиворот и так сверкнул глазами, что я испугался, как бы ему опять не захотелось перерезать мне горло.

– И одет так же, как вы, только в шляпе, – объяснил я, весь дрожа, – и… и… – мне очень хотелось выразиться помягче, – и ему для того же самого нужен подпилок. Разве вы вчера вечером не слышали, как палила пушка?

– Значит, и вправду стреляли, – сказал он, точно про себя.

– Странно, как вы еще сомневаетесь, – удивился я. – Мы дома все слышали, а это дальше, и двери у нас были закрыты.

– А ты то сообрази, что когда человек один на этом болоте, и голова у него пустая, и в брюхе пусто, и сам он еле живой от холода и голода, он всю ночь только и слышит, что выстрелы и голоса. Да что там слышит! Он видит, как солдаты окружают его, видит их красные мундиры при свете факелов. Слышит, как выкрикивают его номер, как его окликают, как щелкают мушкеты, слышит команду: «Готовьсь! Цельсь!» – и его хватают… и вдруг ничего этого нет. Да я за ночь не раз, а сто раз видел, что за мной гонятся солдаты – топ, топ сапожищами, черт бы их побрал! А пушки? Я, уж когда рассвело, и то видел, как туман колышется от выстрелов… Ну, а этот человек, – до сих пор он говорил так, словно забыл о моем существовании, – ты не приметил в нем ничего особенного?

– У него лицо было сильно разбито, – сказал я, припомнив то, что и сам не знал, когда успел заметить.

– Вот здесь? – воскликнул он, безжалостно хлопнув себя ладонью по левой щеке.

– Да, здесь.

– Где он? – Человек запихал остатки еды за пазуху. – Показывай, куда он пошел? Я его выслежу не хуже ищейки. Ох, еще эта цепь на ноге, будь она проклята! Подай-ка мне подпилок.

Я указал, в какой стороне туман поглотил незнакомца, и он, подняв голову, взглянул туда, но в следующую минуту он уже сидел на спутанной мокрой траве и, как одержимый, пилил железное кольцо, не обращая внимания ни на меня, ни на свою ногу, которая была стерта до крови, что не мешало ему обходиться с нею так, словно она сама была железная. Теперь, когда

он довел себя до такого исступления, мне опять стало с ним очень страшно, и страшно было, что дома заметят мое долгое отсутствие. Я сказал ему, что мне пора домой, но он будто не слышал, и я решил уйти потихоньку. Я оглянулся на него напоследок, – низко пригнувшись, он продолжал что есть силы пилить железное кольцо, вполголоса ругая и его, и собственную ногу. Пробежав несколько шагов, я прислушался – и скрежет подпилка донесся до меня из тумана.

ГЛАВА IV

Я был вполне готов к тому, что в кухне меня дожидается констебль, чтобы тотчас взять под стражу. Однако там не только не оказалось констебля, но и кража еще не была обнаружена. Миссис Джо выбивалась из сил, готовя дом к праздничному пиршеству, а Джо велено было убраться за дверь, подальше от совка для сора, потому что всякий раз, как моя сестра особенно рьяно принималась наводить чистоту в своих владениях, Джо неизбежно попадал ногой в этот предмет домашнего обихода.

– А тебя где носило? – услышал я от миссис Джо в виде праздничного приветствия, лишь только мы с моей совестью показались в дверях.

Я сказал, что ходил слушать, как славят Христа.

– Ну, это еще куда ни шло, – процедила миссис Джо. – А то ведь с тебя все станет.

Я подумал, что это верно.

– Не будь я кузнецовой женой, а стало быть, рабой несчастной, которой и передник-то снять некогда, я бы, может, и сама сходила послушать, – сказала миссис Джо. – Я смерть люблю, когда Христа славят, потому мне, наверно, и не удается никогда послушать.

Увидев, что совок отступил от порога, Джо вслед за мной бочком пробрался в кухню и в ответ на гневный взгляд миссис Джо примирительно почесал переносицу, а когда сестра отвернулась, молча скрестил указательные пальцы и подмигнул мне. Этим условным знаком мы сообщали друг другу, что миссис Джо не в духе, а поскольку это было обычное ее состояние, мы с Джо, можно сказать, иногда на целые недели уподоблялись надгробным статуям рыцарей, с той разницей, что они, как известно, лежат скрестив ноги.

Обед нам предстоял поистине роскошный – соленый окорок с гарниром и фаршированные куры. Сладкий пирог был испечен еще вчера утром (почему никто и не хватился остатков фруктовой начинки), а пудинг уже стоял на огне. Ввиду такого обеденного изобилия завтрак нам попросту отменили.

– Чтобы я еще вас с утра кормила, да поила, да посуду за вами мыла, – сказала миссис Джо, – когда мне с обедом дай бог управиться, – нет уж, увольте!

Она сунула нам по ломтю хлеба так, словно мы были полк солдат на походе, а не мужчина и ребенок у себя дома, и мы стыдливо запили его молоком, разбавленным водой из стоявшего на полке кувшина. А миссис Джо тем временем повесила на окна чистые белые занавески, сменила пышную цветастую оборку над очагом и открыла взорам маленькую парадную гостиную, где в остальное время года никто не бывал и все недвижимо покоилось в холодном блеске серебряной бумаги – даже четыре белых фарфоровых собачки на камине, совершенно одинаковые, с черными носами и с корзиночками цветов в зубах. Миссис Джо была очень чистоплотной хозяйкой, но обладала редкостным умением обращать чистоту в нечто более неуютное и неприятное, чем любая грязь. Чистоплотность, говорят, сродни благочестию, и есть люди, достигающие того же своей набожностью.

Будучи всегда занята по горло, сестра моя посещала церковь через доверенных лиц; другими словами, в церковь ходили Джо и я. В рабочем платье Джо выглядел ладным мужчиной, заправским кузнецом; в парадном же костюме он больше всего напоминал расфранченное огородное пугало. Все, что он надевал по праздникам, было ему не впору, словно с чужого плеча, все ему жало, тянуло. И в этот день, когда зазвонили в церкви и он вышел из своей комнаты,

закованный с головы до пят в праздничные доспехи, вид у него был самый несчастный. Что касается меня, то у сестры, видимо, сложилось обо мне представление как о малолетнем преступнике, который в самый день своего рождения был взят под надзор полицейским акушером и передан ей с внушением – действовать по всей строгости закона. Она всегда обращалась со мною так, точно я появился на свет из чистого упрямства, вопреки всем велениям разума, религии и нравственности и наперекор увещаниям своих лучших друзей. Даже когда мне заказывали новое платье, от портного требовали, чтобы оно являло собой нечто вроде колодок и ни в коем случае не оставляло мне свободы движений.

Поэтому не одно жалостливое сердце, должно быть, сжималось при виде того, как мы с Джо шествуем в церковь. Однако куда горше телесных страданий были душевные муки, которые я испытывал. Страх, охватывавший меня всякий раз, как миссис Джо приближалась к кладовой или выходила из кухни, мог сравниться только с раскаянием при мысли о содеянном мною.

Подавленный своим тайным проступком, я размышлял о том, в силах ли будет церковь оградить меня от мщения ненасытного «приятеля», если я во всем ей откроюсь. Я уже решил, что самое подходящее время, чтобы встать и попросить о частной беседе в ризнице, наступит, когда священник прочтет оглашение и скажет: «Все имеющие что-либо против объявите о том немедля!» И вполне возможно, что, будь в тот день не Рождество, а воскресенье, я действительно прибегнул бы к этой крайней мере, тем повергнув в изумление наших немногочисленных прихожан.

Обедать к нам были приглашены псаломщик мистер Уопсл, колесник мистер Хабл со своей женой миссис Хабл и дядя Памблчук, состоятельный торговец зерном из соседнего городка, разъезжавший в собственной тележке (он приходился дядей нашему Джо, но миссис Джо присвоила его себе). Обед был назначен на половину второго. Когда мы с Джо воротились из церкви, стол был уже накрыт, миссис Джо готова, обед почти готов, парадная дверь отперта для приема гостей (обычно она стояла на запоре) – словом, все обстояло как нельзя лучше. И о краже по-прежнему – ни звука.

Пришло время обедать, не принеся мне никакого облегчения; пришли и гости. Мистер Уопсл, джентльмен с римским носом и огромным блестящим лысым лбом, обладал низким раскатистым голосом, которым необычайно гордился; среди его знакомых было даже распространено мнение, что, только дай ему волю, он заткнул бы за пояс нашего священника; и сам он не раз говорил, что, будь двери церкви открыты (для всех желающих служить в ней), он не преминул бы отличиться на этом поприще. Поскольку же двери церкви не были открыты, он был у нас, как я уже сказал, псаломщиком. Но «аминь» звучало в его устах поистине сокрушительно, а перед тем как объявить псалом – непременно весь первый стих до конца, – он всегда, бывало, оглядит собравшихся, словно говоря: «Вы слышали с кафедры голос нашего друга; ну, а *это* как вам понравится?»

Я открывал гостям дверь – с таким видом, будто открывать эту дверь для нас самое привычное дело, – и впустил сначала мистера Уопсла, потом мистера и миссис Хабл и, наконец, дядю Памблчука, которого мне, кстати сказать, запрещалось называть дядей под страхом самого сурового наказания.

– Миссис Джо, – возгласил дядя Памблчук, грузный, неповоротливый мужчина, страдающий одышкой, с выпученными глазами, рыбьим ртом и изжелта-рыжими волосами, торчком стоявшими на голове, так что казалось, точно его недавно душили и он еще не совсем очнулся. – Я принес вам по случаю праздника… я принес вам, сударыня, бутылочку хереса и еще, сударыня, бутылочку портвейна.

Из года в год он являлся к нам на Рождество и произносил, как великую новость, в точности те же слова, держа свои бутылки на манер гимнастических гирь. Из года в год миссис Джо отвечала ему, как и в этот раз: «Ах, дядя Памблчук! Какое баловство!» Из года в год он

возражал, как и в этот раз: «По заслугам и честь. Ну, как вы тут? Скрипите помаленьку? Как наш пенни с фартингом?» Последнее относилось ко мне.

Обедали мы в этих случаях в кухне, а потом переходили в гостиную есть орехи, апельсины и яблоки, причем переход этот очень напоминал переодевание Джо из рабочего платья в парадный костюм. Сестра моя была в тот день необычайно оживлена; впрочем, общество миссис Хабл всегда оказывало на нее благотворное действие. Миссис Хабл запомнилась мне как маленькая, сухощавая женщина с кудряшками, в небесно-голубом платье, притязавшая на неувядаемую молодость по той причине, что была намного моложе мистера Хабла, когда в давно прошедшие времена выходила за него замуж. Мистер Хабл запомнился мне как крепкий, высокий, сутулый старик, приятно пахнувший опилками и на ходу так широко расставлявший ноги, что, когда я в раннем детстве встречал его на деревенской улице, мне открывался между ними вид на всю нашу округу.

В этом почтенном обществе я чувствовал бы себя прескверно, даже если бы не ограбил кладовую. И не потому, что мне было тесно сидеть и острый угол стола впивался мне в грудь, а локоть Памблчука лез в глаза; и не потому, что мне не велели разговаривать (я и сам не хотел разговаривать) или что на мою долю доставались только жесткие куриные лапки и те глухие закоулки окорока, которыми свинья при жизни имела меньше всего оснований гордиться. Нет, это все было бы с полбеды, если бы взрослые оставили меня в покое. Но они не оставляли меня в покое. Они словно хватались за всякую возможность перевести разговор на мою особу и чем-нибудь да кольнуть меня. И я, как несчастный бычок на арене испанского цирка, болезненно ощущал уколы этих словесных копий. Началось это, лишь только мы сели за стол. Мистер Уопсл продекламировал молитву – теперь я бы сказал, что это было нечто среднее между духом Гамлетова отца и Ричардом Третьим, но с сильной примесью благочестия, – и под конец, как подобает, высказал упование, что мы будем вечно благодарны Творцу. Тут сестра уставилась на меня и проговорила тихо и укоризненно:

– Слышишь? Будь благодарен.

– Особенно же, мальчик, – сказал мистер Памблчук, – будь благодарен тем, кто воспитал тебя своими руками.

Миссис Хабл покачала головой и, устремив на мою особу безнадежный взгляд, казалось говоривший, что ничего путного из меня не выйдет, спросила: «И почему это дети всегда такие неблагодарные?» Все стали в тупик перед этой загадкой, и только мистер Хабл разгадал ее, сухо отрезав: «Такими уж родятся уродами». Все подтвердили вполголоса: «Истинная правда!» – и посмотрели на меня как-то особенно враждебно.

При гостях Джо (если только это возможно) значил в доме еще меньше, чем без них. Но по мере сил он всегда выручал и утешал меня и за обедом давал мне как можно больше подливки, если таковая имелась. В тот день подливки было много, и Джо тотчас зачерпнул мне ее с полпинты.

Мистер Уопсл довольно строго отозвался о проповеди, которую мы слышали в то утро, и дал понять в общих чертах, какую проповедь произнес бы он сам в том маловероятном случае, если бы двери церкви были открыты. Познакомив присутствующих с главными пунктами этого сочинения, он заявил, что, на его взгляд, и тема была выбрана священником неудачно, а это уж вовсе не простительно, потому что хороших тем, как он выразился, «хоть пруд пруди».

– Правильно, – сказал дядя Памблчук. – В самую точку попали, сэр! Тем действительно хоть пруд пруди, только надо суметь насыпать им соли на хвост. В этом вся штука. За темами недалеко ходить, была бы солонка наготове. – Немного подумав, мистер Памблчук добавил: – Взять хотя бы свинину. Чем не тема? Если вам нужна тема, повторяю, возьмите свинину!

– Совершенно верно, сэр, – отвечал мистер Уопсл. – Для малолетних… – я уже знал, что сейчас он приплетет меня, – …в высшей степени благодарная и поучительная тема.

(«Слушай хорошенько», – в скобках цыкнула на меня сестра.)

Джо добавил мне подливки.

– Свинья! – продолжал мистер Уопсл глубочайшим басом, указуя вилкой на мою смущенную физиономию, словно называл меня по имени. – Со свиньями водил компанию блудный сын. Прожорливость свиней приводится как дурной пример в назидание малолетним. («А сам только что расхваливал окорок, – подумал я, – какой он жирный да сочный».) То, что предосудительно в свинье, тем более предосудительно в мальчике.

– Или в девочке, – подсказал мистер Хабл.

– Ну, разумеется, мистер Хабл, – согласился мистер Уопсл не без досады, – но девочек я здесь не вижу.

– К тому же, подумай, – сказал мистер Памблчук, внезапно наскакивая на меня, – как ты должен быть благодарен судьбе. Доведись тебе родиться маленьким визгливым поросенком…

– А он как раз и был таким, – убежденно заметила моя сестра.

Джо добавил мне подливки.

– Да, но я имею в виду поросенка четвероногого, – сказал мистер Памблчук. – Доведись тебе родиться свинушкой, был бы ты сейчас здесь, а? Как бы не так.

– Разве что в таком виде, – сказал мистер Уопсл, кивая на блюдо.

– Но я говорю не о таком виде, сэр, – с досадой возразил мистер Памблчук, не любивший, чтобы его перебивали. – Я хотел сказать, мог бы он тогда наслаждаться обществом старших, просвещать свой ум их беседой и купаться в роскоши? Я спрашиваю, мог бы или нет? Нет, не мог бы. А что бы тебя тогда ожидало? – снова наскочил он на меня. – Продали бы тебя за столько-то шиллингов, смотря по тому, какая этому товару цена на рынке, и мясник Данстебл поднял бы тебя с соломенной подстилки, прихватил бы левым локтем, а правой рукой отвернул бы полу, чтобы достать из кармана ножичек, и пролилась бы твоя кровь, и пришел бы тебе конец. Тут уж никто не стал бы воспитывать тебя своими руками. Где там!

Джо предложил мне еще подливки, но я побоялся взять.

– Он, должно быть, доставил вам немало хлопот, сударыня, – сказала миссис Хабл, преисполнившись сострадания к моей сестре.

– Хлопот? – отозвалась та. – Хлопот? – И пустилась перечислять все болезни, в которых я провинился, и все случаи моей злостной бессонницы, и все деревья и крыши, с которых я падал, и все пруды и канавы, в которых я чуть не утонул, и все мои синяки и ссадины, и сколько раз она молила Бога о моей смерти, а я упорно отказывался умирать.

Я склонен думать, что римляне изрядно раздражали друг друга своими носами. Поэтому, возможно, из них и получился такой непоседливый народ. Во всяком случае, римский нос мистера Уопсла так раздражал меня, пока оглашался список моих провинностей, что я готов был вцепиться в него и не отпускать, покуда его обладатель не взвоет. Но все, что я вытерпел до сих пор, не могло и сравниться с тем смятением, какое охватило меня, когда молчание, которое последовало за рассказом моей сестры и во время которого (как я мучительно сознавал) все смотрели на меня с гневом и отвращением, – когда это молчание было нарушено.

– А между тем, – сказал мистер Памблчук, ловко возвращая своих собеседников к предмету, от которого они отклонились, – свинина – в вареном виде, – право же, недурная вещь, а?

– Выпейте бренди, дядя Памблчук, – предложила моя сестра.

О господи, вот оно! Сейчас он почувствует, что бренди разбавлено, и скажет это, и все пропало! Обеими руками я крепко ухватился под скатертью за ножку стола и стал ждать, что будет.

Сестра отправилась за глиняной бутылью, принесла ее и налила мистеру Памблчуку, – кроме него, никто не пил. Злодей повертел стакан в руках, поднял его, посмотрел на свет, поставил на стол, точно задался целью продлить мои мученья. А тем временем моя сестра и Джо быстро убирали со стола все лишнее, чтобы освободить место для паштета и пудинга.

Я неотступно смотрел на мистера Памблчука. Крепко обхватив руками и ногами ножку стола, я следил за тем, как этот презренный человек любовно оглядел стакан, поднял его, сладко улыбнулся, запрокинул голову и залпом выпил до дна. В следующее мгновение неизъяснимый ужас отразился на всех лицах: мистер Памблчук вскочил со стула, несколько раз перевернулся на месте в каком-то судорожном коклюшном танце и ринулся к двери; а затем мы увидели его в окно: явно лишившись рассудка, он прыгал, отплевывался и строил рожи одна страшнее другой.

Я крепко держался за ножку стола, между тем как сестра и Джо бросились к нему на помощь. У меня не оставалось сомнений, что я убил его, неведомо как и чем. Поэтому я даже испытал некоторое облегчение, когда его втащили обратно в кухню и он, окинув собравшихся таким взглядом, будто это они во всем виноваты, опустился на стул и выдохнул одно роковое слово:

– Деготь!

Второпях я долил в бутыль дегтярной воды! Я знал, что через некоторое время ему станет еще хуже, и так налег на ножку стола, что, уподобившись нынешним медиумам, даже сдвинул его немного с места.

– Деготь! – в изумлении повторила сестра. – Да как же туда мог попасть деготь?

Но дядя Памблчук, чувствовавший себя в нашей кухне полновластным хозяином, не желал и слышать этого слова или говорить об этом предмете и, отмахнувшись величественным мановением руки, потребовал горячего джина. Сестра, впавшая было в подозрительную задумчивость, тотчас захлопотала, – нужно было принести джин и горячую воду, смешать их с сахаром, добавить лимонной корочки. На какое-то время я был спасен. Я все не отпускал ножку стола, но теперь обнимал ее с чувством самой пылкой благодарности.

Скоро я настолько успокоился, что разжал руки и занялся пудингом. Мистер Памблчук занялся пудингом. Все занялись пудингом. Покончили и с этим блюдом, и под благотворным воздействием горячего джина мистер Памблчук снова повеселел. Во мне уже затеплилась надежда, что я переживу этот день, но тут моя сестра обратилась к Джо:

– Подай чистые тарелки, греть не надо.

В тот же миг я опять впился в ножку стола и прижал ее к груди, как друга детства и закадычного товарища. Я знал, что последует, и чувствовал, что на этот раз погиб безвозвратно.

– А на закуску, – сказала сестра, подарив гостей любезнейшей улыбкой, – я прошу вас отведать одного замечательного, редкостного кушанья, – это подарок дяди Памблчука.

Отведать? Пусть лучше и не надеются!

– Я скажу вам, что это такое, – продолжала сестра, вставая. – Это паштет; вкуснейший свиной паштет.

Раздался ропот одобрения. Дядя Памблчук, всегда готовый признать свои заслуги перед ближними, произнес, можно даже сказать, игриво (принимая во внимание все обстоятельства):

– Что ж, рады стараться; давайте-ка посмотрим, что это за паштет.

Сестра вышла из кухни. Я слышал, как ее шаги направились к кладовой. Я видел, как мистер Памблчук вооружился ножом и как от нового приступа аппетита раздулись римские ноздри мистера Уопсла. Я слышал замечание мистера Хабла, что «свиным паштетом можно заесть что угодно, вреда не будет», и слова Джо: «Тебе тоже дадут, Пип». До сих пор не знаю, только ли мысленно я испустил пронзительный вопль, или его слышали остальные. Почувствовав, что мне больше не выдержать, что нужно спасаться, я отпустил ножку стола и сломя голову бросился к двери.

Но дальше порога я не добежал, потому что с размаху врезался в целую партию солдат с мушкетами, и один из них сказал, протягивая мне наручники:

– Ага, попался, ну теперь берегись!

ГЛАВА V

При виде отряда солдат, грохавших прикладами заряженных мушкетов о наше крылечко, все повскакали из-за стола, а миссис Джо, возвращавшаяся из кладовой с пустыми руками, застыла на месте, не закончив горестного восклицания: «О Господи Боже мой милостивый, куда же… девался… паштет?»

Взгляд миссис Джо был устремлен на меня и на сержанта, и эта новая угроза несколько прояснила мой ум. Сержант и был тем, кто заговорил со мной, и теперь он обводил взглядом гостей и хозяев, правой рукой любезно предлагая им наручники, а левую положив мне на плечо.

– Прошу прощенья, леди и джентльмены, – сказал сержант, – но, как я уже докладывал этому юному франту (он мне ничего не докладывал!), я именем короля послан в погоню, и мне нужен кузнец.

– А позвольте узнать, зачем он вам понадобился? – спросила сестра, задетая за живое тем, что Джо кому-то нужен.

– Сударыня! – галантно ответил сержант. – От своего имени я бы сказал – ради чести и удовольствия познакомиться с его прекрасной супругой; от имени же короля скажу, что у меня есть к нему небольшое дельце.

Все поняли, что сержант за словом в карман не лезет, а мистер Памблчук даже произнес довольно громко: «Хорошо сказано!»

– Понимаете, хозяин, – продолжал сержант, подходя к Джо, в котором он тем временем распознал нужного ему человека, – у нас с этими наручниками промашка вышла, и теперь замок отказал и цепочка плохо работает. А они нам понадобятся сегодня же, так будьте добры взглянуть, в чем тут дело.

Джо взглянул и определил, что придется разжигать горн и работа займет часа полтора, а то и два.

– Вот как? Ну так принимайтесь за дело немедля, – сказал расторопный сержант, – помните, вы служите его величеству королю. Если понадобится помощь, мои люди к вашим услугам.

С этими словами он кликнул своих солдат, и они гуськом протопали в кухню и, составив ружья в углу, столпились у дверей, кто сцепив перед собой руки, кто прислонясь плечом к стене, поправляя ремни и подсумки, изредка открывая дверь и вытягивая шею, сдавленную высоким воротником мундира, чтобы сплюнуть во двор.

В то время я и не сознавал, что замечаю все это, потому что был сам не свой от страха. Но, сообразив наконец, что наручники предназначаются не для меня и что с появлением солдат паштет скромно отодвинулся на задний план, я стал понемногу собираться с мыслями.

– Виноват, который теперь час? – обратился сержант к мистеру Памблчуку, очевидно считая, что, раз этот последний понимает толк в людях, он должен иметь понятие и о времени.

– Ровно половина третьего.

– Ну, это еще ничего, – сказал сержант, прикинув что-то в уме. – Даже если придется задержаться здесь часа на два, все равно успеем. Сколько от вас тут считается до болот? Наверно, не больше мили?

– Как раз миля, – сказала миссис Джо.

– Успеем. Начнем облаву с наступлением темноты. Таков приказ – перед самым наступлением темноты. Успеем.

– Беглые, сержант? – деловито осведомился мистер Уопсл.

– Да, – ответил сержант. – Двое. Есть сведения, что они еще на болотах, а пока светло, они не будут пытаться улизнуть оттуда. Из вас тут никому не попадалась на глаза такая птица?

Все, кроме меня, чистосердечно ответили в отрицательном смысле. Обо мне никто не подумал.

– Ничего, – сказал сержант, – они и не подозревают, как скоро окажутся в кольце. Ну, хозяин, вы, я вижу, готовы, а его величество король и подавно.

Джо, успевший снять сюртук, шейный платок и жилет и надеть свой кожаный фартук, первым прошел в кузницу. Один из солдат отворил ставни, другой разжег огонь, третий взялся за мехи, остальные стали кружком у огня, который разгорелся быстро и жарко. И пошел тут у Джо стук и звон, стук и звон, а мы все смотрели, как он работает.

Всеобщее увлечение предстоящей погоней так захватило мою сестру, что она даже расщедрилась – нацедила солдатам из бочки кувшин пива, а сержанту предложила стаканчик бренди. Но мистер Памблчук решительно заявил: «Дайте ему вина, сударыня, уж в вине-то не будет дегтя, за это я ручаюсь», после чего сержант поблагодарил его и сказал, что предпочитает напитки без дегтя, а потому, если не будет возражений, лучше выпьет вина. Когда ему поднесли, он провозгласил здоровье его величества, поздравил всех с праздничком и, одним духом осушив стакан, громко причмокнул губами.

– Ну как, сержант, недурное винцо? – спросил мистер Памблчук.

– Сдается мне, – отвечал сержант, – что это винцо вы сами и раздобыли.

– Почему же это вам так сдается? – спросил мистер Памблчук с самодовольным смешком.

– А потому, – отвечал сержант, хлопнув его по плечу, – что вы человек понимающий.

– В самом деле? – спросил мистер Памблчук с тем же самодовольным смешком. – Выпейте еще стаканчик!

– Только с вами. За нашу дружбу, – отвечал сержант. – Чокнемся! И еще разок! Вон как славно поют стаканчики! Ваше здоровье! Дай вам бог прожить тысячу лет и чтобы вы всегда выбирали такие же отменные вина!

Сержант залпом осушил и этот стакан и, казалось, не прочь был выпить третий. Я заметил, что мистер Памблчук в пылу гостеприимства, видимо, совсем забыл, что принес вино в подарок, – он взял у миссис Джо бутылку и распоряжался ею, как радушный хозяин. Даже мне досталось немножко. Когда первая бутылка кончилась, он велел подать вторую и распорядился ею не менее щедро.

Глядя, как оживленно они толпятся в кузнице и как им весело, я думал: какой отличной закуской оказался для них мой беглый болотный знакомец! За обедом, до того как он доставил им столько развлечений, им было куда скучнее. И теперь, когда все только и мечтали о том, как «злодеи» будут изловлены; и, словно во след беглецам, ревели мехи и тянулись языки пламени; и дым устремлялся в погоню за ними; и ради них стучал и звенел молотом Джо; и, угрожая им, метались по стене зловещие тени, а огонь то разгорался, то спадал, и красные искры гасли на излете, – детскому моему воображению смутно представлялось, что бледный день за окном побледнел от жалости к этим горемыкам.

Но вот Джо закончил свою работу, стук и гудение стихли. Надевая сюртук, Джо набрался смелости и предложил, не пойти ли нам вместе с солдатами – посмотреть на облаву. Мистер Памблчук и мистер Хабл отказались, их больше прельщало покурить трубочку в обществе дам; но мистер Уопсл сказал, что охотно составит компанию Джо, а Джо сказал, что, ежели миссис Джо позволит, он возьмет с собой и меня. Я уверен, что нас нипочем бы никуда не пустили, но самой миссис Джо до смерти хотелось узнать, чем кончится погоня. Она поставила лишь одно условие:

– Если мальчишке там голову разнесет пулей, я ее склеивать не буду, не надейся.

Сержант учтиво простился с дамами, а с мистером Памблчуком расстался как со старым другом, хотя я подозреваю, что без помощи живительной влаги он едва ли оценил бы достоинства этого джентльмена. Солдаты разобрали ружья и построились. Мистер Уопсл, Джо и я получили строгий приказ – держаться в арьергарде и не произносить ни слова, после того как

мы выйдем на болота. Когда мы, поеживаясь от холода, бодрым шагом выступили в поход, я изменнически шепнул Джо:

– Хорошо бы мы их не нашли.

А Джо шепнул мне в ответ:

– Я бы шиллинга не пожалел, если бы им удалось удрать, Пип.

Больше никто из жителей деревни не пошел с нами: погода была холодная, неприветливая, дорога унылая, под ногами скользко; к тому же темнело, а дома люди грелись у камелька и справляли праздник. Тут и там на нашем пути удивленные лица поспешно приникали к освещенным окнам, но наружу никто не вышел. Дойдя до перекрестка, мы свернули прямо к кладбищу. Здесь по знаку сержанта сделали короткую остановку, и солдаты рассыпались среди могил и осмотрели церковную паперть. Они возвратились, не обнаружив ничего подозрительного, и мы вышли через боковые ворота на просторы болот. Восточный ветер стал хлестать нам в лицо мокрым снегом, и Джо взял меня на закорки.

Только сейчас, на пустынной равнине, где я побывал восемь-девять часов тому назад и видел обоих каторжников (как бы все удивились, когда бы узнали про это!), мне пришла в голову страшная мысль: а вдруг, если мы их найдем, мой арестант решит, что это я привел сюда погоню? Ведь он спрашивал, не обманул ли я его, и сказал, что я был бы никудышным щенком, если бы стал его травить. Неужели он подумает, что я и вправду щенок и обманщик и мог так подло предать его?

Но теперь это был праздный вопрос. Я сидел на закорках у Джо, а Джо брал одну канаву за другой, как охотничья лошадь, и покрикивал мистеру Уопслу, чтобы тот не отставал и, боже сохрани, не ткнулся в землю своим римским носом. Солдаты двигались впереди нас, растянувшись длинной цепью. Мы держались того же направления, по какому я шел утром, пока не заплутался в тумане. Сейчас туман либо еще не пал, либо его развеяло ветром. В красном зареве заката были ясно видны и маяк, и виселица, и холм с батареей, и дальний берег реки – все одинакового мутно-свинцового цвета.

Я напряженно всматривался вдаль, и сердце у меня стучало о широкую спину Джо, как кузнечный молот. Но никаких признаков беглых я не мог уловить. Сперва меня сильно пугало сопенье и тяжелое дыхание мистера Уопсла; но потом я привык к этим звукам и уже знал, что они не имеют отношения к предмету наших поисков. Один раз я вздрогнул от ужаса: мне показалось, что я все еще слышу скрежет подпилка; но то был лишь овечий колокольчик. Овцы поднимали головы и робко смотрели на нас, коровы, отворачиваясь от ветра и мокрого снега, провожали нас сердитыми взглядами, словно это мы принесли им непогоду, и боязливо шелестела трава в последних отблесках дневного света, – больше ничто не нарушало безотрадной тишины болот.

Солдаты все приближались к старой батарее, и мы шли следом, немного позади их цепи, как вдруг все стали: на крыльях дождя и ветра к нам донесся протяжный крик. Потом второй. Он возник далеко от нас, где-то к востоку, но был протяжный и громкий. Казалось даже, что кричат сразу два или три человека, так сбивчиво и неясно долетал до нас этот звук.

Сержант и ближайшие к нему солдаты вполголоса говорили об этом, когда мы с Джо подошли к ним. Прислушавшись, Джо (хорошо разбиравшийся в таких вещах) подтвердил их мнение, так же как и мистер Уопсл (ничего в таких вещах не смысливший). Сержант, будучи человеком решительным, отдал приказ: на крики не отвечать, но изменить направление и идти к востоку «беглым шагом». Тогда и мы повернули вправо, на восток, и Джо так ретиво поскакал вперед, что я крепко ухватился за него, чтобы не свалиться.

Теперь мы неслись во весь опор, так что даже Джо не удержался и крикнул мне разок: «Ох и гонка!» Не разбирая дороги, мы мчались вверх и вниз по дамбам, перемахивали через ручьи, шлепали по воде, продирались сквозь жесткий камыш. Чем ближе звучали крики, тем ясней становилось, что кричит не один человек. Временами крик как будто стихал, тогда и

солдаты застывали на месте. Когда же он раздавался вновь, солдаты бежали быстрее прежнего, и мы за ними. Скоро мы уже стали различать, что один голос кричит: «Убивают!», а другой: «Арестанты! Беглые! Стража! Сюда!» На минуту шум драки заглушил оба голоса, потом крик возобновился. И тут солдаты стрелой понеслись вперед, а вместе с ними и Джо.

Сержант первым добежал до места, двое солдат тотчас догнали его. Когда подоспели остальные, эти двое уже взвели курки.

– Оба тут! – задыхаясь, прокричал сержант, соскакивая в глубокую канаву. – Сдавайтесь, вы! Экие звери, черт бы вас взял! Да уймитесь вы, дьяволы!

Фонтаном взлетали брызги воды и комья грязи, сыпались проклятия и удары, и наконец еще несколько солдат, соскочив в канаву на помощь сержанту, вытащили порознь обоих каторжников – моего и другого. Они были все в крови и отчаянно отбивались и сквернословили, но я, разумеется, тотчас узнал обоих.

– Обратите внимание! – прохрипел мой каторжник, стирая с лица кровь драными рукавами и стряхивая с пальцев вырванные волосы. – Это я его задержал! Я передаю его вам! Обратите внимание!

– Нашел о чем разговаривать, – сказал сержант. – Едва ли тебе будет от этого польза, любезный, – ведь ты с ним одного поля ягода. Подать наручники!

– А я и не жду для себя пользы. Мне больше никакой пользы не надо, – сказал мой каторжник и хищно усмехнулся. – Я его задержал. Ему это известно. С меня и хватит.

У другого арестанта лицо совсем посинело, и, вдобавок к старому кровоподтеку на левой щеке, он весь был в синяках и ссадинах. Пока на него надевали наручники, он все силился заговорить и не мог, и даже прислонился к одному из солдат, чтобы не упасть.

– Заметьте, служивый, он хотел меня убить, – были его первые слова.

– Хотел убить? – пренебрежительно повторил мой арестант. – Хотел – и не убил? Я его задержал и сдал кому следует, вот что я сделал. Мало того что я не дал ему уйти с болота, я его сюда приволок, немножко не доволок до места. Этот мерзавец, видите ли, благородный, джентльмен. Так вы теперь мне спасибо скажите, что тюрьма получит обратно своего джентльмена. Убить его? Очень нужно руки марать, когда я мог сделать кое-что похуже, – опять его засадить.

А тот все бормотал, задыхаясь:

– Он хотел… хотел меня убить. Будьте… будьте свидетелями.

– Вы меня послушайте, – сказал мой каторжник сержанту. – Я сам ушел с баржи, мне никто не помогал. Захотел и ушел. Я бы и на этом болоте не остался замерзать – вон, посмотрите, нога-то не закована, – кабы не узнал, что он тоже здесь. Допустить, чтобы он ушел? Чтобы он воспользовался моей хитростью да сноровкой? Чтобы опять согнул меня в бараний рог? Ну нет, шалишь! Да если б я сдох в этой канаве, – он указал на нее, неуклюже взмахнув скованными руками, – я б и то его не выпустил, так и держал бы до вашего прихода.

Другой арестант повторил, с содроганием оглядываясь на него:

– Он хотел меня убить. Если бы не вы, меня уже не было бы в живых.

– Врет он! – свирепо оборвал его мой каторжник. – Всю жизнь врал и до смерти не перестанет. Да вон, у него это на лице написано. Пусть-ка посмотрит мне в глаза. Вот увидите, не посмеет.

Тот пытался выдавить из себя презрительную усмешку – хотя так и не мог унять дрожь, кривившую его губы, – посмотрел на солдат, окинул взглядом болота и небо, но от своего противника упорно отводил глаза.

– Вот вам, – продолжал мой арестант. – Видали мерзавца? Видали, как у него глаза шмыгают да стреляют по сторонам? Так же было и тогда, когда нас вместе судили. Ни разу на меня не взглянул.

У второго каторжника все кривились пересохшие губы и глаза продолжали беспокойно бегать, но наконец он остановился взглядом на своем враге, проговорил: «Было бы на что смотреть» – и с издевкой прищурился на его скованные руки. Тут мой каторжник совсем рассвирепел и рванулся вперед, но солдаты его удержали.

– Я ведь говорю вам, что он убил бы меня, если б мог, – сказал второй, и было видно, как он трясется от страха, а на губах у него выступили белые хлопья пены.

– Довольно разговаривать, – сказал сержант. – Зажечь факелы.

Один из солдат, несший вместо ружья корзину, опустился на колено и стал ее открывать, и тут мой арестант впервые огляделся и увидел меня. Я неподвижно стоял рядом с Джо, – он спустил меня на землю, еще когда мы только добрались до канавы. Поймав на себе взгляд каторжника, я умоляюще посмотрел на него и еле заметно развел руками и покачал головой. Я долго ждал этой минуты, чтобы попытаться уверить его, что я тут ни при чем. Я не мог бы сказать, понял ли он мое намерение: он только взглянул на меня как-то странно и тотчас отвернулся. Но если бы он смотрел на меня хоть целый час или целый день, лицо его не могло бы выразить более напряженного внимания.

Солдат, который нес корзину, скоро высек огонь, зажег несколько факелов и роздал их, оставив один себе. И до этого было почти темно, теперь же стало совсем темно, а потом тьма еще сгустилась. Прежде чем уйти с этого места, четыре солдата, став в кружок, дважды выстрелили в воздух. Вскоре в отдалении тоже зажглись факелы, одни – позади нас, другие – на дальнем берегу реки.

– Все в порядке, – сказал сержант. – Вперед, марш!

Мы прошли совсем немного, когда впереди три раза выстрелила пушка – так громко, что у меня словно что-то лопнуло в ушах.

– Это в твою честь, – сказал сержант моему каторжнику. – На барже уже известно, что тебя ведут. Не отставай, любезный. Сомкнись!

Их вели каждого под особым конвоем, поодаль друг от друга. Джо держал меня за руку, а в другой руке нес факел. Мистер Уопсл был бы не прочь воротиться домой, но Джо решил остаться до конца, и мы по-прежнему следовали за солдатами. Теперь под ногами у нас была твердая тропинка; она шла у самого края воды, кое-где отступая от нее в обход запруды с осклизлым шлюзом или с крошечной мельницей. Оглядываясь, я видел, как нас догоняют другие огоньки. С наших факелов капали на тропинку большие огненные кляксы, и я видел, как они дымятся и вспыхивают. А больше я ничего не видел, кроме черной тьмы. От смолистого пламени факелов воздух вокруг нас согревался, и это как будто нравилось нашим пленникам, с трудом ковылявшим каждый в своем кольце мушкетов. Мы не могли идти быстро, потому что оба они хромали и совсем обессилели; раза два-три нам даже пришлось остановиться, чтобы дать им передохнуть.

Так мы шли около часа, а потом увидели перед собой какое-то деревянное строение и пристань. Нас окликнул часовой, сержант ответил. Мы вошли. В доме пахло табаком и известкой, ярко пылал огонь, горела лампа, и была стойка для мушкетов, барабан и низкие деревянные нары, похожие на подставку от огромного катка для белья, где могли уместиться друг возле дружки не меньше десяти солдат. Лежавшие на них три-четыре солдата в шинелях не выказали особого интереса при нашем появлении: приподняв голову, они сонно посмотрели на нас и улеглись снова. Сержант с кем-то поговорил, записал что-то в книге, а потом того каторжника, которого я называю «другим», вывели под конвоем на пристань, чтобы первым отправить на баржу.

Мой каторжник больше ни разу не взглянул на меня. Пока мы были в доме, он стоял у очага, задумчиво глядя в огонь, или по очереди ставил ноги на решетку и задумчиво их разглядывал, словно жалея за то, что им так досталось в последние дни. Вдруг он повернулся к сержанту и сказал:

– Я хочу кое-что заявить касательно своего побега. Это для того, чтобы подозрение не пало на кого другого.

– Ты заявишь все, что тебе угодно, – сказал сержант, скрестив на груди руки и холодно глядя на него, – но не к чему это делать здесь. Тебе еще представится полная возможность и поговорить, и послушать.

– Я знаю, только это статья особая. Человек не может жить без еды. Я, по крайней мере, не могу. Это я к тому говорю, что взял кое-какую снедь в той деревне, где церковь, вон что за болотами.

– Попросту говоря, украл, – сказал сержант.

– И сейчас скажу у кого. У кузнеца.

– Эге! – сказал сержант и уставился на Джо.

– Эге, Пип! – сказал Джо и уставился на меня.

– Еды было так, всякие остатки, и еще глоток спиртного, и паштет.

– Вы как, не заметили у себя дома пропажи паштета? – спросил сержант, наклоняясь к Джо.

– Жена хватилась его как раз перед вашим приходом. Ты ведь слышал, Пип?

– Вот как, – сказал мой арестант, хмуро подняв глаза на Джо и даже не взглянув в мою сторону, – это вы, значит, и будете кузнец? Ну, тогда не прогневайтесь, ваш паштет я съел.

– Да на здоровье… мне-то не жалко, – добавил Джо, вовремя вспомнив про миссис Джо. – В чем ты провинился, нам неизвестно, но, видит Бог, мы вовсе не хотим, чтобы ты из-за этого помер с голоду, бедный ты, несчастный человек. Верно, Пип?

Опять, как утром на болоте, в горле у каторжника что-то булькнуло, и он поворотился к нам спиной. Лодка тем временем вернулась, конвойные стояли наготове; мы вышли вслед за моим арестантом на пристань, сложенную из камня и грубо отесанных бревен, и видели, как его посадили в лодку, где на веслах сидели такие же каторжники, как он. При встрече с ним никто не проявил ни удивления, ни интереса, ни радости, ни сочувствия, никто не сказал ни слова, только чей-то голос в лодке рявкнул, точно на собак: «Давай греби!» – и раздался мерный плеск весел. В свете факелов нам видна была плавучая тюрьма, черневшая не очень далеко от илистого берега, как проклятый Богом Ноев ковчег. Сдавленная тяжелыми балками, опутанная толстыми цепями якорей, баржа представлялась мне закованной в кандалы, подобно арестантам. Мы видели, как лодка подошла к борту и как моего каторжника подняли на баржу и он исчез. Тогда остатки факелов шипя полетели в воду и погасли, словно для него все навсегда было кончено.

ГЛАВА VI

Даже после того, как обвинение в краже было столь неожиданно с меня снято, я ни минуты не помышлял о чистосердечном признании; однако мне хочется думать, что мною руководили и добрые чувства.

Когда миновала опасность, что мой проступок будет обнаружен, мысль о миссис Джо, сколько помнится, перестала меня смущать. Но Джо я любил – в те далекие дни, возможно, лишь за то, что он, добрая душа, не противился этому, – и уж тут мне не так-то легко было усыпить свою совесть. Еще долго (а в особенности когда он хватился своего подпилка) меня мучило сознание, что надо рассказать Джо всю правду. И все же я этого не сделал – не сделал потому, что боялся показаться в его глазах хуже, чем был на самом деле. Страх, что я лишусь доверия Джо и отныне буду сидеть по вечерам у огня, устремив тоскливый взор на того, кто уже не будет мне товарищем и другом, накрепко сковал мне язык. Больное воображение твердило мне, что если я откроюсь Джо, то всякий раз, как он начнет теребить свои русые бакены, мне будет казаться, что он размышляет о моем прегрешении. Если я откроюсь Джо, то всякий раз,

как он хотя бы мимоходом взглянет на поданные к столу остатки вчерашнего мяса или пудинга, мне будет казаться, что он думает, не побывал ли я в кладовой. Если я откроюсь Джо и когда-нибудь пиво покажется ему безвкусным или слишком густым, то я весь зальюсь краской от сознания, что он заподозрил в нем примесь дегтя. Короче говоря, я из трусости не сделал того, что заведомо надлежало сделать, так же как раньше из трусости сделал то, чего делать заведомо не надлежало. В то время я совсем не знал света и не подражал никому из многочисленных его обитателей, поступающих точно так же. Как истый философ-самородок, я нашел для себя этот путь без посторонней помощи.

Я стал клевать носом, как только мы отошли от плавучей тюрьмы, и Джо, заметив это, снова взял меня на закорки и нес до самого дома. Бедняга порядком измучился дорогой, ибо мистер Уопсл, который совсем выбился из сил, был в таком скверном настроении, что, будь двери церкви открыты, он, наверно, отлучил бы от нее всех участников нашего похода, начиная с меня и Джо. За отсутствием же такой возможности он упорно плюхался в грязь, да так часто, что если бы подобное поведение каралось смертью, то вещественных доказательств, обнаруженных на его брюках, когда он снял свой мокрый сюртук у огня в нашей кухне, с избытком хватило бы, чтобы отправить его на виселицу.

Я в это время стоял посреди кухни и шатался как пьяненький потому, что меня только что спустили на пол, и потому, что я успел крепко заснуть, а проснулся в теплой, светлой комнате, среди шума голосов. Когда я пришел в себя (чему способствовал чувствительный толчок между лопатками и ободряющее восклицание моей сестры: «Ох, до чего же несносный мальчишка!»), Джо только что кончил рассказ об удивительном признании каторжника, и все наперебой строили предположения насчет того, как он проник в кладовую. Мистер Памблчук, тщательно осмотрев наши владения, пришел к выводу, что он залез на крышу кузницы, оттуда – на крышу дома, а затем по трубе спустился в кухню на веревке, которую сплел из своих простынь, разрезав их на полосы. Мистер Памблчук говорил очень уверенно, а кроме того, мистер Памблчук разъезжал в собственной тележке – и никому не уступал дороги, – а потому все согласились, что так оно и было.

Правда, мистер Уопсл, с раздражением усталого человека, громко выкрикнул: «Нет!» – но, поскольку у него не было своей теории и поскольку он был без сюртука, никто не стал его слушать; к тому же от заднего его фасада валил пар – он сушился, стоя спиной к огню, – а это отнюдь не внушало доверия.

Больше я ничего не слышал в тот вечер: сестра сочла мой сонный вид оскорбительным для гостей и, схватив меня за шиворот, препроводила в постель так властно, что могло показаться, будто на мне надето пятьдесят башмаков и все они разом громыхают о края ступенек.

Описанное мною выше состояние духа возникло еще до того, как я наутро встал с постели, и не покидало меня даже тогда, когда причина его была уже предана забвению и о ней перестали упоминать, кроме как в самых исключительных случаях.

ГЛАВА VII

В ту пору, когда я стоял на кладбище, разглядывая родительские могилы, моих познаний едва хватало на то, чтобы разобрать надписи на каменных плитах. Даже нехитрый их смысл я понимал не вполне правильно, считая, например, что в словах «супруга *выше*реченного» заключается почтительный намек на переселение моего отца в горнюю обитель; и если бы о ком-нибудь из моих умерших родственников было сказано «нижереченный», я, несомненно, составил бы себе о покойнике самое нелестное мнение. Не отличалось ясностью и мое восприятие догматов, изложенных в катехизисе; так, например, я прекрасно помню, что, обещая «следовать оным путем во все дни жизни моей», я воображал, будто должен всегда ходить по

деревне одной и той же дорогой и, боже упаси, не сворачивать с нее ни вправо у мельницы, ни влево у мастерской колесника.

Со временем мне предстояло поступить в подмастерья к Джо, пока же я еще не дорос до этой чести, миссис Джо считала, что со мной нечего миндальничать. Поэтому я и в кузнице помогал, и если кому-нибудь из соседей потребуется, бывало, мальчик гонять с огорода птиц или выбирать из земли камни, эти почетные дела поручались мне. Однако, дабы не уронить достоинства нашего семейства в глазах соседей, на полке над кухонным очагом была водружена копилка, в которую, как о том было широко оповещено, опускались мои заработки. Я готов предположить, что они в конечном счете предназначались на погашение государственного долга; во всяком случае, надежды самому воспользоваться этими сокровищами у меня не было.

Двоюродная бабушка мистера Уопсла держала у нас в деревне вечернюю школу; другими словами, эта старушенция, располагавшая весьма ограниченными средствами и неограниченным количеством всяких недугов, ежедневно от шести до семи часов вечера отсыпалась в присутствии десятка юнцов, с которых брала по два пенса в неделю за возможность любоваться сим поучительным зрелищем. Она снимала небольшой домик, в верхней комнате которого жил мистер Уопсл, и нам внизу бывало слышно, как он изливал свои чувства в возвышенных и грозных монологах, временами топая ногою в потолок. Считалось, что раз в три месяца мистер Уопсл устраивал школьникам экзамен. На самом же деле все сводилось к тому, что мистер Уопсл, отвернув обшлага и взъерошив волосы, декламировал нам монолог Марка Антония над трупом Цезаря. Затем следовала ода Коллинза[1] «Страсти», причем больше всего мистер Уопсл мне нравился в роли Мщения, когда бросал он оземь меч кровавый свой и, грозным взором всех испепеляя, войну, и мор, и горе возвещал. Лишь много позже, когда я на опыте узнал, что такое страсти, я сравнил их с впечатлениями от Коллинза и Уопсла, и, должен сказать, сравнение оказалось не в пользу этих джентльменов.

Кроме упомянутого просветительного заведения, двоюродная бабушка мистера Уопсла держала (в той же комнате) мелочную лавочку. Она никогда не знала, какой товар есть в лавке и что сколько стоит; но в одном из ящиков комода хранилась засаленная тетрадка, служившая прейскурантом, и с помощью этого оракула Бидди производила все торговые операции. Бидди была внучкой двоюродной бабушки мистера Уопсла. Кем она приходилась мистеру Уопслу, я не берусь определить, – эта задача мне не по разуму. Она была сирота, как и я, и, подобно мне, воспитана своими руками. Самым примечательным в ней казались мне ее конечности, ибо волосы ее всегда взывали о гребне, руки – о мыле, а башмаки – о дратве и новых задниках. Впрочем, это описание годится только для будних дней. По воскресеньям Бидди отправлялась в церковь преображенная.

Главным образом собственными силами, и уж скорее с помощью Бидди, чем двоюродной бабушки мистера Уопсла, я продрался сквозь алфавит, как сквозь заросли терновника, накалываясь и обдираясь о каждую букву. Потом я попал в лапы к разбойникам – девяти цифрам, которые каждый вечер, казалось, меняли свое обличье нарочно для того, чтобы я не узнал их. Но в конце концов я с грехом пополам начал читать, писать и считать, правда – в самых скромных пределах.

Однажды вечером я сидел в кухне у огня и, склонившись над грифельной доской, прилежно составлял письмо к Джо. С нашей памятной гонки по болотам прошел, очевидно, целый год, – снова стояла зима и на дворе морозило. Прислонив к решетке очага букварь для справок и промучившись часа полтора, я изобразил печатными буквами следующее послание: «мИлы

[1] *Коллинз Уильям* (1721–1759) – английский поэт. В его оде «Страсти» по очереди поют и играют на лире Страх, Гнев, Надежда, Мщение, Меланхолия, Веселье и др.

ДЖО жылаю теБе здаровя ДЖО я Скоро буду теБя учит и Мы будим так раДы ДЖО а када я буду у ТИбя пдмастерем тото будиТ рас чуДесна Остаюсь слюбовю ПиП».

Никакой необходимости сноситься с Джо письменно у меня не было, потому что он сидел рядом со мной и мы были одни в кухне. Но я передал ему свое послание из рук в руки, и он принял его как некое чудо премудрости.

– Ай да Пип! – воскликнул Джо, широко раскрыв свои голубые глаза. – Ты, дружок, стал у нас совсем ученый, верно я говорю?

– Нет, куда мне! – вздохнул я, с сомнением поглядывая на доску; теперь, когда она была в руках у Джо, я увидел, что строчки получились совсем кривые.

– Да у тебя тут есть Д, – удивился Джо, – и Ж, и О, да какие красивые. Вот и выходит, Пип, Д-Ж-О, ДЖО.

Я не помнил, чтобы Джо хоть раз прочел что-нибудь, кроме этого короткого слова, а в прошлое воскресенье в церкви, нечаянно перевернув молитвенник вверх ногами, я заметил, что Джо, сидевший со мной рядом, не испытал от этого ни малейшего неудобства. Решив тут же выяснить, с самого ли начала мне придется начинать, когда я буду давать Джо уроки, я сказал:

– А ты прочти дальше, Джо.

– Дальше, Пип? – сказал Джо, внимательно вглядываясь в мое послание. – Раз, два, три. Да тут, Пип, целых три Д, и Ж, и О, и Д-Ж-О – Джо!

Я нагнулся к Джо и, водя пальцем по доске, прочел ему письмо с начала до конца.

– Поди ж ты! – сказал Джо, когда я кончил. – Ученый ты у нас, право, ученый.

– Как ты напишешь «Гарджери», Джо? – спросил я скромно-покровительственным тоном.

– А я его не буду писать, – сказал Джо.

– Ну, а ты представь себе, что пишешь.

– Этого никак не представишь, – сказал Джо. – А я, между прочим, чтение тоже очень уважаю.

– Разве, Джо?

– Очень уважаю. Дай мне хорошую книжку либо газету хорошую и посади у огонька, так мне больше ничего не нужно. – Он задумчиво потер себе колено и продолжал: – А уж как увидишь Д, и Ж, и О, да скажешь: «Вот оно Д-Ж-О, Джо» – тогда читать и вовсе интересно.

Из этого я заключил, что образование Джо, так же как применение силы пара, находится еще в зачаточном состоянии.

– А ты разве не ходил в школу, когда был маленький, Джо?

– Нет, Пип.

– А почему ты не ходил в школу, когда был маленький?

– Почему? – переспросил Джо и, как всегда, когда впадал в задумчивость, стал медленно помешивать угли, просунув кочергу между прутьев решетки. – А вот послушай. Мой отец, Пип, был любитель выпить, проще сказать – пил горькую, а когда, бывало, напьется, то бил мою мать безо всякой жалости. Лучше бы он так молотом по наковальне бил – так нет же, все ей доставалось, все ей, да еще мне. Ты, Пип, слушаешь меня, понимаешь, что я говорю?

– Да, Джо.

– По этой самой причине мы с матерью несколько раз от отца убегали. Вот мать наймется где-нибудь на работу и скажет, бывало: «Джо, теперь ты с Божьей помощью и учиться пойдешь», и отдаст меня в школу. Только отец у меня был предобрый человек, и никак ему было невозможно жить без нас. Вот он узнает, где мы находимся, да и соберет народ, да такой шум поднимет перед домом, что хозяевам невтерпеж станет, они и говорят: «Уходите вы, подобру-поздорову» – и выгонят нас на улицу. Ну, он тогда ведет нас домой и бьет пуще прежнего. И понимаешь, Пип, – сказал Джо, переставая мешать угли и устремив на меня задумчивый взгляд, – ученью моему это здорово мешало.

– Еще бы, бедный Джо!

– Только ты помни, Пип, – сказал Джо, строго постучав кочергой по решетке, – каждому надо воздавать по справедливости, чтобы никому обидно не было, и я так скажу, что отец мой был предобрый человек, понял ты меня?

Я не понял, но промолчал.

– То-то и есть, – продолжал Джо. – Однако ж кому-то надо варить похлебку, не то похлебка не сварится, понятно, Пип?

Это я понял и так и сказал.

– По этой самой причине отец слова против того не вымолвил, чтобы я шел работать; я и пошел работать, по той же части, что и он, – только он-то ни по какой части ничего не делал, – и работал я на совесть, это ты можешь мне поверить, Пип. Скоро я уже мог его содержать, и содержал до самых тех пор, пока его не хватил покалиптический удар. И было у меня такое желание, чтобы у него на могиле значилось, что хотя не без грехов он свой прожил век, читатель, помни, он был предобрый человек.

Джо произнес это двустишие так выразительно и с такой явной гордостью, что я спросил, уж не сам ли он это сочинил.

– Сам, – ответил Джо. – Единым духом сочинил. Точно подкову одним ударом выковал. Со мной сроду такого не бывало – я даже себе не поверил, – сказать по правде, просто диву дался, как это у меня вышло. Так вот, я и говорю, Пип, было у меня такое желание, чтобы это вырезали у него на могильной плите; но стихи денег стоят, как их ни вырезай – крупными буквами или мелкими, – и дело не выгорело. Похороны и без того недешево обошлись, а те деньги, что остались, нужны были для матери. У нее здоровье сильно сдало, совсем была никуда. Она, бедная, ненамного его пережила, пришло время и ее косточкам успокоиться.

Голубые глаза Джо подернулись влагой, и он потер сначала один глаз, потом другой самым неподходящим для этого дела предметом – круглой шишкой на рукоятке кочерги.

– Остался я тогда один-одинешенек, – сказал Джо. – А потом познакомился с твоей сестрой. Имей в виду, Пип, – Джо посмотрел на меня решительно и твердо, словно знал, что я с ним не соглашусь, – твоя сестра – видная женщина.

Я невольно отвел глаза и с сомнением покосился на огонь.

– Что бы там люди ни говорили, Пип, будь то среди родных или, к примеру сказать, в деревне, но твоя сестра, – и Джо закончил, отбивая каждый слог кочергой по решетке, – видна-я женщина.

Не в силах придумать лучшего ответа, я сказал только:

– Я рад, что ты так считаешь, Джо.

– Вот и я тоже, – подхватил Джо. – Я тоже рад, что я так считаю, Пип. А что немножко красна, да немножко кое-где костей многовато, так неужели мне на это обижаться можно?

Я глубокомысленно заметил, что если уж он на это не обижается, то другим и подавно нечего.

– Вот-вот, – подтвердил Джо. – Так оно и есть. Ты правильно сказал, дружок. Когда я познакомился с твоей сестрой, здесь только и разговоров было о том, как она тебя воспитывает своими руками. Все ее за это хвалили, и я тоже. А уж ты, – продолжал Джо с таким выражением, будто увидел что-то в высшей степени противное, – кабы ты мог знать, до чего ты был маленький да плохонький, ты бы и смотреть на себя не захотел.

Не слишком довольный таким отзывом, я сказал:

– Ну что говорить обо мне, Джо.

– А как раз о тебе и шел разговор, Пип, – возразил Джо с простодушной лаской. – Когда я предложил твоей сестре, чтобы, значит, нам с ней жить и чтобы обвенчаться, как только она надумает переехать в кузницу, я ей тут же сказал: «И ребеночка приносите. Бедный ребеночек, говорю, Господь с ним, для него в кузнице тоже место найдется».

Я расплакался и, бросившись Джо на шею, стал просить у него прощенья, а он выпустил из рук кочергу, чтобы обнять меня, и сказал:

– Не плачь, дружок! Мы же с тобой друзья, верно, Пип?

Когда я немного успокоился, Джо снова заговорил:

– Вот такие-то дела, Пип. Так оно и обстоит. И когда ты начнешь меня обучать, Пип (только я тебе вперед говорю, я к ученью тупой, очень даже тупой), пусть миссис Джо лучше не знает, что мы с тобой затеяли. Надо будет это, как бы сказать, втихомолку устроить. А почему втихомолку? Сейчас я тебе скажу, Пип.

Он снова взял в руки кочергу, без чего, вероятно, не мог бы продвинуться ни на шаг в своем объяснении.

– Твоя сестра, видишь ли, адмиральша.

– Адмиральша, Джо?

Я был поражен, ибо у меня мелькнула смутная мысль (и, должен сознаться, надежда), что Джо развелся с нею и выдал ее замуж за лорда адмиралтейства.

– Адмиральша, – повторил Джо. – То есть, я имею в виду, что она любит адмиральствовать над тобой да надо мною.

– А-а-а.

– И ей не по нраву, чтобы в доме были ученые, – продолжал Джо. – А уж если бы я чему-нибудь выучился, это ей особенно пришлось бы не по нраву, она бы стала бояться, а ну, как я вздумаю бунтовать. Вроде как мятежники, понимаешь?

Я хотел ответить вопросом и уже начал было: «А почему…» – но Джо перебил меня:

– Погоди. Я знаю, что ты хочешь сказать, Пип, но ты погоди. Слов нет, иногда она здорово нами помыкает. Слов нет, она и на тумаки не скупится, и на голову нам рада сесть. Уж когда твоя сестра начнет лютовать, – Джо понизил голос до шепота и оглянулся на дверь, – тут, кто не захочет соврать, всякий скажет, что она сущий Дракон.

Джо произнес это слово так, будто оно начинается по крайней мере с трех заглавных Д.

– Почему я не бунтую? Это самое ты хотел спросить, когда я тебя остановил?

– Да, Джо.

– Ну, перво-наперво, – сказал Джо, перекладывая кочергу в левую руку, чтобы правой подергать себя за бакен (я привык не ждать ничего хорошего от этого его мирного жеста), – у твоей сестры ума палата, Пип. Да, вот именно, ума палата.

– Что это значит? – спросил я, рассчитывая поставить его в тупик. Но Джо нашелся быстрее, чем я ожидал: пристально глядя в огонь и обходя существо вопроса, он ошарашил меня ответом:

– Это значит – у твоей сестры… Ну, а у меня ума поменьше, – продолжал Джо, оторвав наконец взгляд от огня и снова принимаясь теребить свой бакен. – А еще, Пип, – и намотай ты это себе на ус, дружок, – столько я насмотрелся на свою несчастную мать, столько насмотрелся, как женщина надрывается, трудится до седьмого пота, да от горя и забот смолоду и до смертного часа покоя не знает, что теперь я пуще всего боюсь, как бы мне чем не обидеть женщину, лучше я иной раз себе во вред что-нибудь сделаю. Оно бы, конечно, лучше было, кабы доставалось одному только мне, кабы ты не знал, что такое Щекотун, и я мог бы все принять на себя. Но тут уж ничего не поделаешь, Пип, как оно есть, так и есть, и ты на эти неполадки плюнь, не обращай внимания.

С этого вечера я, хоть и был очень молод, научился по-новому ценить Джо. Мы с ним как были, так и остались равными; но теперь, глядя на Джо и думая о нем, я часто испытывал новое ощущение, будто в душе смотрю на него снизу вверх.

– Ишь ты! – сказал Джо, поднимаясь, чтобы подбросить в огонь угля. – Стрелки-то на часах куда подобрались, того и гляди пробьет восемь, а ее до сих пор дома нет. Не дай бог, лошадка дяди Памблчука поскользнулась на льду и упала.

Поскольку дядя Памблчук был холостяком и пользовался услугами кухарки, которой не доверял ни на грош, миссис Джо иногда наведывалась к нему в базарные дни, чтобы своим женским советом помочь при покупке всего, что требовалось по домашности. Сегодня как раз был базарный день, и миссис Джо отправилась в одну из таких поездок.

Джо раздул огонь, подмел пол у очага, и мы вышли за дверь послушать, не едет ли тележка. Вечер выдался ясный, морозный, дул сильный ветер, земля побелела от инея. Мне подумалось, что на болотах не выдержать в такую ночь – замерзнешь насмерть. А потом я посмотрел на звезды и представил себе, как страшно, должно быть, замерзающему человеку смотреть на них и не найти в их сверкающем сонме ни сочувствия, ни поддержки.

– Вон и лошадку слышно, – сказал Джо. – Звон-то какой, что твой колокольчик.

Железные подковы выбивали по твердой дороге мелодичную дробь, причем лошадка бежала гораздо быстрее обычного. Мы вынесли стул, чтобы миссис Джо было удобно слезть с тележки, помешали угли, так что окошко ярко засветилось в темноте, и проверили, чисто ли все прибрано на кухне. Едва эти приготовления были закончены, как путники подъехали к дому, укутанные до бровей. Вот миссис Джо спустили на землю, вот и дядя Памблчук слез и укрыл лошадку попоной, и вот уже мы все стоим в кухне, куда нанесли с собой столько холодного воздуха, что он, казалось, остудил даже огонь в очаге.

– Ну, – сказала миссис Джо, быстро и взволнованно сбрасывая с себя шаль и откидывая назад капор, так что он повис на лентах у нее за спиной, – если и сегодня этот мальчишка не будет благодарен, так, значит, от него и ждать нечего.

Я придал своему лицу настолько благодарное выражение, насколько это возможно для мальчика, не ведающего, кого и за что он должен благодарить.

– Нужно только надеяться, – сказала сестра, – что с ним там не будут миндальничать. Я на этот счет не спокойна.

– Она не из таких, сударыня, – сказал мистер Памблчук. – Она в этом понимает.

Она? Я посмотрел на Джо, изобразив губами и бровями «Она?». Джо посмотрел на меня и тоже изобразил губами и бровями «Она?». Но так как на этой провинности его застигла миссис Джо, он, как всегда в подобных случаях, примирительно посмотрел на нее и почесал переносицу.

– Ну? – прикрикнула сестра. – На что уставился? Или в доме пожар?

– Как, стало быть, здесь кто-то говорил «Она», – вежливо намекнул Джо.

– А разве она не она? – вскинулась сестра. – Или, может быть, по-твоему, мисс Хэвишем – он? Но до такого, пожалуй, даже ты не додумаешься.

– Мисс Хэвишем, это которая в нашем городе? – спросил Джо.

– А разве есть мисс Хэвишем, которая в нашей деревне? – съязвила сестра. – Она хочет, чтобы мальчишка приходил к ней играть. И он, конечно, пойдет к ней. И пусть только попробует не играть, – прибавила миссис Гарджери, грозным потряхиванием головы побуждая меня к беспечной резвости и веселью, – уж я ему тогда покажу!

Я слыхал кое-что о мисс Хэвишем из нашего города, – о ней слыхали все, на много миль в округе. Говорили, что это необычайно богатая и суровая леди, живущая в полном уединении, в большом мрачном доме, обнесенном железной решеткой от воров.

– Надо же! – протянул изумленный Джо. – А откуда она, интересно, знает Пипа?

– Вот олух! – вскричала сестра. – Кто тебе сказал, что она его знает?

– Как, стало быть, здесь кто-то говорил, – снова вежливо намекнул Джо, – что, дескать, она хочет, чтобы он приходил к ней играть.

– А не могла она разве спросить дядю Памблчука, нет ли у него на примете какого-нибудь мальчика, чтобы приходил к ней играть? И не может разве быть, чтобы дядя Памблчук арендовал у нее участок и иногда – не стоит говорить, раз в полгода или в три месяца, это не твоего ума дело, – иногда ходил к ней платить за аренду? И не могла она, что ли, его спросить, нет ли

у него на примете мальчика, чтобы приходил к ней играть? А дядя Памблчук, который всегда о нас думает и заботится, – хоть ты, Джозеф, кажется, с этим не согласен (она произнесла это с глубокой укоризной, словно он был самым бесчувственным племянником на свете), не мог он разве упомянуть об этом мальчишке, что стоит тут и хорохорится (клянусь, я этого не делал!), даром что с колыбели сидит у меня на шее?

– Хорошо сказано! – воскликнул дядя Памблчук. – Что верно, то верно! В самую точку! Теперь, Джозеф, тебе все ясно.

– Нет, Джозеф, – сказала сестра все так же укоризненно, в то время как Джо продолжал виновато почесывать переносицу, – тебе, хоть ты, может быть, этого не подозреваешь, еще не все ясно. Ты, наверно, решил, что всё, ан нет, Джозеф. Ты еще не знаешь, что дядя Памблчук подумал: как знать, а может, мальчик там свое счастье найдет, и предложил сегодня же отвезти его в город в своей тележке и взять к себе переночевать, а завтра утром самолично доставить к мисс Хэвишем. О Господи милостивый! – внезапно крикнула сестра, яростно сдергивая с себя капор, – что же это я, заболталась со всякими разинями, когда дядя Памблчук ждет, и лошадка мерзнет на улице, а мальчишка весь в грязи да в саже от макушки до пят!

Тут она схватила меня, как орел ягненка, и, сунув лицом в деревянную шайку, а головой под кран, до тех пор мылила, и толкла, и месила, и терла, и скребла, и терзала, пока я совсем не ошалел. (Замечу кстати, что едва ли кто из ныне живущих столпов науки лучше меня знает, как болезненно действует на человеческую физиономию грубое прикосновение обручального кольца.)

Когда с омовением было покончено, меня одели в чистое, жесткое, как дерюга, белье, словно кающегося грешника во власяницу, и втиснули в самое узкое и неудобное платье. В таком виде я был сдан мистеру Памблчуку, и он, приняв меня сугубо официально, точно шериф преступника, разразился фразой, которую, без сомнения, уже давно смаковал про себя:

– Будь вечно благодарен всем твоим друзьям, мальчик, особенно же тем, кто воспитал тебя своими руками!

– Прощай, Джо!

– Прощай, Пип, храни тебя Бог, дружок!

Я еще никогда с ним не расставался, и от нахлынувших на меня чувств, а также от оставшейся в глазах мыльной пены, сначала даже не видел из тележки звезд. Но потом они одна за другой засияли в небе, не пролив, однако, ни малейшего света на вопрос, почему, собственно, я должен идти играть к мисс Хэвишем и во что, собственно, я должен там играть.

ГЛАВА VIII

Владения мистера Памблчука на Торговой улице нашего городка были пропитаны особым, перечно-мучнистым духом, как и подобает владениям торговца зерном и семенами. Мне представлялось, что он должен быть очень счастливым человеком, потому что в лавке у него так много маленьких выдвижных ящичков; а заглянув в те из них, что были поближе к полу, и увидев там завязанные нитками бумажные пакетики, я подумал, что в теплые дни семенам и луковицам, наверно, хочется вырваться из своих темниц и цвести на воле.

Эта мысль пришла мне в голову наутро после приезда. С вечера меня сразу отправили спать в каморку на чердаке, где скат крыши проходил так низко над кроватью, что расстояние от черепицы до моих бровей было едва ли более фута. В то же утро я обнаружил своеобразную связь между огородными семенами и плисовыми панталонами. В плисовых панталонах ходил и сам мистер Памблчук, и его приказчик; и почему-то общий вид и запах плиса так отдавал семенами, а общий вид и запах семян так отдавал плисом, что в моем представлении они как бы сливались воедино. Тогда же я сделал еще одно наблюдение: торговая деятельность мистера Памблчука, казалось, состояла в том, чтобы поглядывать через улицу на седельника, который,

казалось, занимался тем, что глаз не спускал с каретника, который, казалось, наживал деньги тем, что, заложив руки в карманы, разглядывал пекаря, который, в свою очередь, скрестив руки на груди, глазел на бакалейщика, который стоял у дверей своей лавки и зевал, уставившись на аптекаря. Выходило, что единственным, кто уделял внимание собственному делу, был часовщик, с увеличительным стеклом в глазу, неизменно склоненный над своим столиком и неизменно привлекавший взоры кучки досужих фермеров в холщовых блузах, толпившихся перед его витриной.

В восемь часов мистер Памблчук и я сели завтракать в комнате, выходившей во двор, в то время как приказчик пил чай и ел свою краюху хлеба с маслом, пристроившись на мешке с горохом в самом магазине. В обществе мистера Памблчука я чувствовал себя отвратительно. Мало того что он разделял мнение моей сестры, будто пища моя предназначается единственно для умерщвления плоти, мало того что он норовил дать мне как можно больше корок и как можно меньше масла, а в молоко подлил столько теплой воды, что честнее было бы обойтись вовсе без молока, – вдобавок ко всему этому разговор его сплошь состоял из арифметики. В ответ на мое вежливое утреннее приветствие он вопросил: «Сколько будет семью девять?» А что я мог ему сказать, застигнутый врасплох, в чужом доме, и притом натощак? Я был голоден, но едва я проглотил первый кусок, как на меня посыпались арифметические примеры, которых хватило на все время завтрака. «Семь да четыре? – Да восемь? – Да шесть? – Да два? – Да десять?» и так далее. Ответив на один вопрос, я только-только успевал сделать глоток, как уже слышал следующий; а мистер Памблчук, которому ничего не нужно было отгадывать, сидел развалясь на стуле и (да простится мне это выражение), как заправский обжора, поедал горячие булочки с свиной грудинкой.

Вот почему я очень обрадовался, когда пробило десять часов и мы отправились к мисс Хэвишем, хотя я понятия не имел, как мне следует вести себя у этой незнакомой леди. Через четверть часа мы подошли к ее дому – кирпичному, мрачному, сплошь в железных решетках. Некоторые окна были замурованы; из тех, что еще глядели на свет божий, в нижнем этаже все были забраны ржавыми решетками; перед домом был двор, тоже обнесенный решеткой, так что мы, позвонив у калитки, стали ждать, чтобы кто-нибудь вышел нам отворить. Заглянув внутрь (мистер Памблчук и тут нашел время спросить: «Да четырнадцать?» – но я сделал вид, что не слышу), я увидел в глубине двора большую пивоварню. В пивоварне никто не работал, и видно было, что она бездействует уже давно.

В доме поднялось окошко, звонкий голосок спросил: «Как фамилия?» Мой спутник ответил: «Памблчук». Голос сказал: «Правильно», окошко захлопнулось, и во дворе показалась нарядная девочка с ключами в руках.

– Вот, – сказал мистер Памблчук, – я привел Пипа.

– Это и есть Пип? – переспросила девочка; она была очень красивая и очень гордая с виду. – Входи, Пип.

Мистер Памблчук тоже шагнул было во двор, но она быстро притворила калитку.

– Простите, – сказала она, – вам разве угодно видеть мисс Хэвишем?

– Если мисс Хэвишем угодно видеть меня… – отвечал мистер Памблчук сконфузившись.

– Ах вот как, – сказала девочка. – Нет, ей не угодно.

Это было сказано так хладнокровно и твердо, что мистер Памблчук, как ни было оскорблено его достоинство, ничего не мог возразить. Он только окинул меня строгим взглядом – точно это я его обидел! – и удалился, но не раньше, чем произнес с упреком: – Мальчик! Да послужит твое поведение к чести тех, кто воспитал тебя своими руками.

Я уже боялся, что он вот-вот воротится и спросит через решетку: «Да шестнадцать?» – но этого не случилось.

Юная моя провожатая заперла калитку, и мы пошли к дому. Двор был мощеный и чистый, но из щелей между плитами пробивалась трава. Вправо уходила дорога к пивоварне; дере-

вянные ворота, когда-то замыкавшие дорогу, стояли настежь, и все двери пивоварни стояли настежь, так что за ними видна была высокая ограда; и все было пусто и заброшено. Холодный ветер казался здесь холодней, чем на улице; он пронзительно завывал, проносясь под крышей пивоварни, как воет ветер в снастях корабля в открытом море.

Заметив, что я смотрю на пивоварню, девочка сказала:

– Ты бы, мальчик, мог выпить все пиво, сколько его здесь ни варят, и ничего бы с тобой не было.

– Наверно, мог бы, мисс, – робко подтвердил я.

– Теперь здесь лучше и не пробовать варить пиво, все равно выйдет кислое, ты как думаешь, мальчик?

– Похоже на то, мисс.

– Впрочем, никто и не собирается пробовать, – добавила она. – С этим давно покончили, и все здесь так и будет стоять, пока не рассыплется. А пива в погребах напасено столько, что можно бы утопить весь Мэнор-Хаус.

– Так называется этот дом, мисс?

– Это одно из его названий, мальчик.

– А у него есть и другие названия, мисс?

– Есть еще одно. Он называется Сатис-Хаус; «Сатис» – это значит «довольно», не то по-гречески, не то по-латыни, не то по-древнееврейски, – мне, в общем, все равно.

– «Дом Довольно»! – сказал я. – Какое чудное название, мисс.

– Да, – отвечала она, – но в нем есть особенный смысл. Когда дому давали такое название, это значило, что тому, кто им владеет, ничего больше не будет нужно. В то время, видно, умели довольствоваться малым. Но пойдем, мальчик, не мешкай.

Она все время называла меня «мальчик» и говорила обидно-пренебрежительным тоном, а между тем она была примерно одних лет со мной. Но выглядела она, разумеется, много старше, потому что была девочка, и очень красивая и самоуверенная; а на меня она смотрела свысока, точно была совсем взрослая, и притом королева.

Мы вошли в дом через боковую дверь – парадная была заперта снаружи двойной цепью, – и меня поразила полная темнота в прихожей, где девочка оставила зажженную свечу. Взяв ее со стола, она повела меня длинными коридорами, а потом вверх по лестнице, и везде было так же темно, только пламя свечи немного разгоняло мрак.

Наконец мы подошли к какой-то двери, и девочка сказала:

– Входи.

Я хотел пропустить ее вперед – не столько из вежливости, сколько потому, что оробел, – но она только проронила: «Какие глупости, мальчик, я не собираюсь туда входить» – и гордо удалилась, а главное – унесла с собой свечу.

Мне стало очень неуютно, даже страшновато. Однако делать было нечего – я постучал в дверь, и чей-то голос разрешил мне войти. Я вошел и очутился в довольно большой комнате, освещенной восковыми свечами. Ни капли дневного света не проникало в нее. Я решил, что, судя по мебели, это спальня, хотя вид и назначение многих предметов обстановки были мне в то время совершенно неизвестны. Но среди них выделялся затянутый материей стол с зеркалом в золоченой раме, и я сразу подумал, что это, должно быть, туалетный стол знатной леди.

Возможно, что я не разглядел бы его так быстро, если бы возле него никого не было. Но в кресле, опираясь локтем на стол и склонив голову на руку, сидела леди, диковиннее которой я никогда еще не видел и никогда не увижу.

Она была одета в богатые шелка, кружева и ленты – сплошь белые. Туфли у нее тоже были белые. И длинная белая фата свисала с головы, а к волосам были приколоты цветы померанца, но волосы были белые. На шее и на руках у нее сверкали драгоценные камни, и какие-то сверкающие драгоценности лежали перед ней на столе. Вокруг в беспорядке валялись пла-

тья, не такие великолепные, как то, что было на ней, и громоздились до половины уложенные сундуки. Туалет ее был не совсем закончен, – одна туфля еще стояла на столе, фата была плохо расправлена, часы с цепочкой не надеты, а перед зеркалом вместе с драгоценностями было брошено какое-то кружево, носовой платок, перчатки, букет цветов и молитвенник.

Все эти подробности я заметил не сразу, но и с первого взгляда я увидел больше, чем можно было бы предположить. Я увидел, что все, чему надлежало быть белым, было белым когда-то очень давно, а теперь утеряло белизну и блеск, поблекло и пожелтело. Я увидел, что невеста в подвенечном уборе завяла, так же как самый убор и цветы, и ярким в ней остался только блеск ввалившихся глаз. Я увидел, что платье, когда-то облегавшее стройный стан молодой женщины, теперь висит на иссохшем теле, от которого осталась кожа да кости. Однажды на ярмарке меня водили смотреть страшную восковую фигуру, изображавшую не помню какую легендарную личность, лежащую в гробу. В другой раз меня водили в одну из наших старинных церквей на болотах посмотреть скелет в истлевшей одежде, долгие века пролежавший в склепе под каменным полом церкви. Теперь скелет и восковая фигура, казалось, обрели темные глаза, которые жили и смотрели на меня. Я готов был закричать, но голос изменил мне.

– Кто здесь? – спросила леди.

– Пип, мэм.

– Пип?

– Мальчик от мистера Памблчука, мэм. Я пришел… играть.

– Подойди ко мне, дай на тебя посмотреть. Подойди ближе.

Вот тут-то, стоя перед ней и стараясь не встречаться с ней глазами, я и разглядел подробно все, что ее окружало, и заметил, что часы ее остановились и показывают без двадцати девять, и большие часы в углу комнаты тоже стоят и тоже показывают без двадцати девять.

– Посмотри на меня, – сказала мисс Хэвишем. – Ты не боишься женщины, которая за все время, что ты живешь на свете, ни разу не видала солнца?

Каюсь, я не побоялся отягчить свою совесть явной ложью, заключавшейся в слове «нет».

– Ты знаешь, что у меня здесь? – спросила она, приложив сначала одну, потом другую руку к левой стороне груди.

– Да, мэм (я невольно вспомнил моего каторжника и его приятеля).

– Что это у меня?

– Сердце.

– Разбитое!

Она выговорила это слово горячо, настойчиво, с загадочной, точно горделивой, улыбкой. Еще некоторое время она держала руки у груди, а потом опустила, словно они были очень тяжелые.

– Я устала, – сказала мисс Хэвишем. – Я хочу развлечься, а взрослые люди мне опостылели. Играй!

Мне кажется, даже самые заядлые спорщики среди моих читателей вынуждены будут согласиться, что при данных обстоятельствах она не могла потребовать от бедного мальчугана ничего более трудного.

– У меня бывают болезненные прихоти, – продолжала она, – и сейчас у меня такая прихоть: хочу смотреть, как играют. Ну же! – Она нетерпеливо пошевелила пальцами правой руки. – Играй, играй, играй!

Я так хорошо помнил угрозу сестры «показать мне», что на мгновение меня обуяла безумная мысль – пуститься вскачь по комнате, изображал собою лошадку мистера Памблчука. Но я тут же почувствовал, что у меня ничего не выйдет, и продолжал стоять неподвижно, глядя на мисс Хэвишем, которая, видимо, заподозрила меня и своеволии, потому что спросила, после того как мы вдоволь насмотрелись друг на друга:

– Ты, может быть, бука и упрямец?

– Нет, мэм. Мне вас очень жалко, и мне очень жалко, что я сейчас не могу играть. Если вы на меня пожалуетесь, мне попадет от сестры, так что я не стал бы отказываться, если б мог. Но здесь все для меня так ново, и все такое странное и красивое… и печальное…

Я замолчал, чувствуя, что могу сболтнуть или уже сболтнул лишнее, и мы опять долго смотрели друг на друга.

Прежде чем снова заговорить, она отвела от меня глаза и поглядела на свой наряд, на туалетный стол и наконец на свое отражение в зеркале.

– Так ново для него, – пробормотала она, – так старо для меня; так странно для него, так привычно для меня; так печально для нас обоих! Позови Эстеллу.

Она по-прежнему смотрела в зеркало, и я, думая, что она все еще разговаривает сама с собой, не двинулся с места.

– Позови Эстеллу, – повторила она, сверкнув на меня глазами. – Это ведь ты можешь сделать. Выйди за дверь и позови Эстеллу.

Стоять в потемках в таинственном коридоре незнакомого дома, орать во весь голос «Эстелла» гордой красавице, невидимой и невнемлющей, и чувствовать, что, выкрикивая ее имя, допускаешь непростительную вольность, – это было почти так же тяжко, как играть по заказу. Но в конце концов она откликнулась, и свет ее свечи замерцал в темном коридоре, подобно звезде.

Мисс Хэвишем поманила к себе Эстеллу и, взяв со стола какое-то блестящее украшение, любовно приложила его сначала к ее круглой шейке, потом к темным вьющимся волосам.

– Когда-нибудь, дорогая, это будет твое, ты-то сумеешь носить драгоценности. Поиграй с этим мальчиком в карты, а я посмотрю.

– С этим мальчиком! Но ведь это самый обыкновенный деревенский мальчик!

Мне показалось – только я не поверил своим ушам, – будто мисс Хэвишем ответила:

– Ну что же! Ты можешь разбить его сердце!

– Во что ты умеешь играть, мальчик? – спросила меня Эстелла самым что ни на есть надменным тоном.

– Только в дурачки, мисс.

– Вот и оставь его в дурачках, – сказала мисс Хэвишем.

И мы сели играть в карты.

Тут-то я начал понимать, что не только часы, но и все в комнате остановилось давным-давно. Я заметил, что мисс Хэвишем положила блестящее украшение в точности на то же место, откуда взяла его. Пока Эстелла сдавала карты, я опять взглянул на туалетный стол и увидел, что пожелтевшая белая туфля, стоящая на нем, ни разу не надевана. Я взглянул на необутую ногу и увидел, что пожелтевший белый шелковый чулок на ней протоптан до дыр. Если бы в комнате не замерла вся жизнь, не застыли бы в неподвижности все поблекшие, ветхие вещи, – даже это подвенечное платье на иссохшем теле не было бы так похоже на гробовые пелены, а длинная белая фата – на саван.

Мисс Хэвишем сидела, глядя на нас, подобная трупу, и казалось, что кружева и оборки на ее подвенечном платье сделаны из желтовато-серой бумаги. В то время я еще не знал, что при раскопках древних захоронений находят иногда тела умерших, которые тут же, на глазах, обращаются в пыль; но с тех пор я часто думал, что она производила именно такое впечатление – словно вот-вот рассыплется в прах от первого луча дневного света.

– Он говорит вместо трефы – крести, – презрительно заявила Эстелла, едва мы начали играть. – А какие у него шершавые руки! И какие грубые башмаки!

Прежде мне в голову не приходило стыдиться своих рук; но тут и мне показалось, что руки у меня неважные.

Презрение Эстеллы было так сильно, что передалось мне, как зараза.

Она выиграла, и я стал сдавать. Я тут же сбился, что было вполне естественно, – ведь я чувствовал, что она только и ждет какого-нибудь промаха с моей стороны, – и она обозвала меня глупым, нескладным деревенским мальчиком.

– Что же ты ей не ответишь? – спросила мисс Хэвишем. – Она наговорила тебе так много неприятного, а ты все молчишь. Какого ты о ней мнения?

– Не хочется говорить, – замялся я.

– А ты скажи мне на ухо, – и мисс Хэвишем наклонилась ко мне.

– По-моему, она очень гордая, – сказал я шепотом.

– А еще?

– По-моему, она очень красивая.

– А еще?

– По-моему, она очень злая (взгляд Эстеллы, устремленный в это время на меня, выражал беспредельное отвращение).

– А еще?

– Еще я хочу домой.

– Хочешь уйти и никогда больше ее не видеть, хотя она такая красивая?

– Не знаю, может быть, и захочется еще ее увидеть, только сейчас я хочу домой.

– Скоро пойдешь домой, – сказала мисс Хэвишем вслух. – Доиграй до конца.

Если бы не та первая загадочная улыбка, я бы готов был поспорить, что мисс Хэвишем не умеет улыбаться. На поникшем ее лице застыло угрюмое, настороженное выражение, – по всей вероятности, тогда же, когда все окаменело вокруг, – и, казалось, не было силы, способной его оживить. Грудь ее ввалилась – от этого она сильно горбилась, и голос потух, – она говорила негромко, глухим, безжизненным тоном; глядя на нее, каждый сказал бы, что вся она, внутренне и внешне, душою и телом, поникла под тяжестью какого-то страшного удара.

Эстелла опять обыграла меня и бросила свои карты на стол, словно гнушаясь победой, которую одержала над таким противником.

– Когда же тебе опять прийти? – сказала мисс Хэвишем. – Сейчас подумаю.

Я хотел было напомнить ей, что нынче среда, но она остановила меня прежним нетерпеливым движением пальцев правой руки.

– Нет, нет! Я знать не знаю дней недели, знать не знаю времен года. Приходи опять через шесть дней. Слышишь?

– Да, мэм.

– Эстелла, сведи его вниз. Покорми его, и пусть побродит там, оглядится. Ступай, Пип.

Следом за свечой я спустился вниз, так же как раньше поднимался следом за свечой наверх, и Эстелла поставила ее там же, откуда взяла. Пока она не отворила наружную дверь, я бессознательно представлял себе, что на дворе давно стемнело. Яркий дневной свет совсем сбил меня с толку, и у меня было ощущение, будто в странной комнате, освещенной свечами, я провел безвыходно много часов.

– Ты подожди здесь, мальчик, – сказала Эстелла и исчезла, затворив за собою дверь.

Оставшись один во дворе, я воспользовался этим для того, чтобы внимательно осмотреть свои шершавые руки и грубые башмаки, и пришел к печальному выводу. Прежде эти принадлежности моей особы не смущали меня, теперь же они были мне в тягость. Я решил спросить у Джо, почему он научил меня называть крестями карты, которые называются трефы. Я пожалел, что Джо не получил более тонкого воспитания, которое могло бы пойти на пользу и мне.

Эстелла вернулась и принесла мне хлеба, мяса и небольшую кружку пива. Кружку она поставила наземь, а хлеб и мясо сунула мне в руки, не глядя на меня, точно провинившейся собачонке. Мне стало так обидно, тяжко, досадно, стыдно, гадко, грустно – не могу подобрать верное слово для своего ощущения, одному Богу ведомо, как называется эта боль, – что слезы выступили у меня на глазах. При виде их взгляд девочки оживился: она обрадовалась, что

довела меня до слез. Это дало мне силы сдержать их и посмотреть на нее; тогда она презрительно тряхнула головой, хотя, кажется, поняла, что торжество ее было преждевременным, – и ушла.

А я, оставшись один, стал искать, куда бы спрятаться, и, забравшись за створку ворот, ведших к пивоварне, прислонился локтем к стене, а лицом уткнулся в рукав и заплакал. Я плакал, и колотил ногой стену, и дергал себя за волосы – так горько было у меня на душе и такой острой была безымянная боль, просившая выхода.

Воспитание сестры сделало меня не в меру чувствительным. Дети, кто бы их ни воспитывал, ничего не ощущают так болезненно, как несправедливость. Пусть несправедливость, которую испытал на себе ребенок, даже очень мала, но ведь и сам ребенок мал, и мир его мал, и для него игрушечная лошадка-качалка все равно что для нас рослый ирландский скакун. С тех пор как я себя помню, я вел в душе нескончаемый спор с несправедливостью. Едва научившись говорить, я уже знал, что сестра несправедлива ко мне в своем взбалмошном, злом деспотизме. Меня не покидало сознание, что, воспитывая меня своими руками, она все же не имеет права воспитывать меня рывками. Это сознание я берег и лелеял наперекор всем поркам, брани, голодовкам, постам и прочим исправительным мерам; и тем, что я, одинокий и беззащитный ребенок, так много носился с этими мыслями, я в большой мере объясняю свою душевную робость и болезненную чувствительность.

На сей раз, однако, я справился со своими оскорбленными чувствами, вколотив их ногой в стену пивоварни и повыдергав вместе с волосами, после чего утер лицо рукавом и вышел из-за створки ворот на двор. Тут я не без удовольствия принялся за хлеб и мясо, пиво приятно грело и щекотало в носу, и скоро я воспрянул духом настолько, что мог оглядеться по сторонам.

Да, все здесь было заброшено, вплоть до голубятни, которая покривилась от какой-то давнишней бури и покачивалась на своем шесте, так что, будь она населена голубями, они бы думали, что их качает шторм в открытом море. Но голубей в голубятне не было, как не было ни лошадей в конюшне, ни свиней в хлеву, ни солода в кладовой, ни запаха зерна и пива в котле и чанах. Все запахи и самая жизнь пивоварни словно улетучились из нее с последними клочьями дыма. В одном закоулке двора свалены были пустые бочки, еще отдававшие кислотцой в память о лучших днях; но по кислому их духу нельзя было судить о пиве, когда-то их наполнявшем; такова, вероятно, судьба всех отшельников – их воспоминания мало похожи на их прошлую жизнь.

Там, где кончалась пивоварня, за старой стеной виднелся запущенный сад; стена была не очень высокая, – подтянувшись, я повис на руках и, заглянув через нее в сад, увидел, что он примыкает к дому и весь зарос кустами и сорняком, но среди желто-зеленого бурьяна вилась протоптанная тропинка, словно кто-то часто гулял там, и по этой тропинке от меня уходила Эстелла. Впрочем, она, казалось, была везде: когда я, не устояв перед таким соблазном, забрался на бочки и стал по ним ходить, я увидел, что она тоже ходит по бочкам в дальнем конце склада. Она шла спиной ко мне, поддерживая поднятыми руками свои прекрасные темные волосы, и, ни разу не оглянувшись, быстро скрылась у меня из глаз. То же было и в самой пивоварне – просторном помещении с каменным полом, где когда-то варили пиво и до сих пор осталось кое-что из утвари, – едва я заглянул туда и, смущенный ее мрачным видом, остановился в дверях и стал озираться по сторонам, как увидел, что Эстелла прошла между погасших печей, поднялась по узкой железной лестнице и, мелькнув на галерейке высоко у меня над головой, исчезла, точно ушла прямо в небо.

Вот в эту-то минуту и в этом-то месте воображение сыграло со мной странную шутку. Она показалась мне странной тогда, а много лет спустя показалась еще более странной. Взгляд мой, слегка затуманенный оттого, что я долго глядел в морозное светлое небо, упал на толстую балку в углу, справа от меня, и я увидел, что на ней висит женская фигура. Женщина в пожелтевшем белом платье, об одной туфле; мне даже было видно, что поблекшие оборки на платье

словно сделаны из желтовато-серой бумаги и что лицо женщины – лицо мисс Хэвишем, и все черты его в движении, точно она пытается окликнуть меня.

Так страшен был вид этой фигуры, которая – я готов был в том поручиться – только что возникла из ничего, что я сперва бросился бежать прочь, а потом бросился бежать к ней. Но страшнее всего было то, что никакой фигуры там не оказалось.

Лишь увидев морозный свет, приветливо льющийся с неба, и прохожих за оградой двора, да подкрепившись остатками хлеба с мясом и пива, я немного успокоился. Возможно, впрочем, что я еще долго не пришел бы в себя, если бы не увидел Эстеллу, которая несла ключи, чтобы выпустить меня на улицу. Я подумал, что, заметив мой испуг, она сочтет себя вправе пуще прежнего презирать меня, и решил не давать ей для этого повода.

Бросив в мою сторону торжествующий взгляд, словно злорадствуя, что у меня такие шершавые руки и такие грубые башмаки, она отомкнула калитку. Я хотел выйти, не глядя на нее, но она исподтишка тронула меня за плечо.

– Что ж ты не плачешь?

– Не хочу.

– Нет, хочешь, – сказала она. – У тебя все глаза заплаканные, и опять вот-вот разревешься.

Она презрительно засмеялась, подтолкнула меня в спину и заперла за мной калитку. Я пошел к мистеру Памблчуку и с огромным облегчением узнал, что его нет дома. Попросив приказчика передать, в какой день мне снова нужно быть у мисс Хэвишем, я пустился пешком в обратный путь и прошел все четыре мили, отделявшие меня от кузницы Джо, размышляя обо всем, что видел, и снова и снова возвращаясь мыслью к тому, что я – самый обыкновенный деревенский мальчик, что руки у меня шершавые, что башмаки у меня грубые, что я усвоил себе предосудительную привычку называть трефы крестями, что я – куда больший невежда, чем мог полагать накануне вечером, и что вообще жизнь моя самая разнесчастная.

ГЛАВА IX

Когда я воротился домой, сестра, которой не терпелось разузнать, как все было у мисс Хэвишем, забросала меня вопросами. И тут же принялась награждать увесистыми шлепками и подзатыльниками и самым унизительным образом тыкать лицом в стену кухни за то, что я отвечал недостаточно подробно.

Если все дети одержимы таким же страхом, что их могут не понять, какой владел в детстве мною, – а я, не имея причин считать себя исключением, вполне допускаю, что это так, – то именно этим нередко можно объяснить, что они бывают столь молчаливы и замкнуты. Я был глубоко убежден, что, если опишу дом мисс Хэвишем таким, каким я его видел, меня не поймут. Более того, я был убежден, что не поймут и мисс Хэвишем; и хотя для меня самого она была полнейшей загадкой, я счел бы себя повинным в гнусной измене, если бы чистосердечно вынес ее (не говоря уже про мисс Эстеллу) на суд моей сестры. И вот я отмалчивался сколько мог, а меня за это тыкали лицом в стену кухни.

В довершение несчастья под вечер к нашему дому пыхтя подкатил в своей тележке противный Памблчук, обуреваемый любопытством и желанием досконально узнать обо всем, что я видел и слышал. И одного взгляда на моего мучителя, на его рыбьи глаза и разинутый рот, на рыжеватые волосы, вопросительно торчащие кверху, на жилет, распираемый арифметическими примерами, было достаточно, чтобы я решил назло ему ничего не рассказывать.

– Ну, мальчик, – начал дядя Памблчук, едва только уселся на почетном месте у огня. – Как ты провел время в городе?

Я ответил: «Ничего, сэр», и сестра погрозила мне кулаком.

– Ничего? – переспросил мистер Памблчук. – Ничего – это не ответ. Расскажи нам, мальчик, что ты имеешь в виду, когда говоришь «ничего»?

Возможно, что от соприкосновения лба с известкой мозг затвердевает и это придает нам особенное упрямство. Не знаю, так это или нет, но только лоб у меня был весь в известке от стены и упрямство мое уподобилось алмазу. Я с минуту подумал, а потом отвечал, словно набрел на совершенно новую мысль:

– Я имею в виду ничего.

У сестры вырвалось гневное восклицание, и она уже готова была броситься на меня – Джо работал в кузнице, и мне неоткуда было ждать даже видимости защиты, – но мистер Памблчук остановил ее:

– Нет, не нужно выходить из терпения. Предоставьте мальчика мне, сударыня, предоставьте его мне. – Затем он повернул меня к себе лицом, словно собираясь подстричь мне волосы, и сказал: – Сначала, чтобы собраться с мыслями, ответь мне: сколько составят сорок три пенса?

Я прикинул, что будет, если я скажу: «Четыреста фунтов», и, решив, что это не сулит мне ничего хорошего, ответил по возможности правильно, то есть ошибся всего на каких-нибудь восемь пенсов. Тогда мистер Памблчук заставил меня повторить всю таблицу денежного счета, начиная с «двенадцать пенсов – один шиллинг» и кончая «сорок пенсов – три шиллинга четыре пенса», после чего, видимо полагая, что справился со мной, победоносно вопросил:

– Ну, так сколько же будет сорок три пенса?

После долгого раздумья я отвечал: «Не знаю». Вероятно, я и в самом деле не знал, до того был раздражен и взвинчен.

Мистер Памблчук покрутил головой, словно штопором, чтобы вытянуть из меня нужный ответ, и сказал:

– Ну, например, равняются сорок три пенса семи шиллингам шести пенсам и трем фартингам?

– Да! – сказал я. И хотя сестра незамедлительно дала мне по уху, я ощутил глубокое удовлетворение оттого, что своим ответом испортил ему шутку и поставил его в тупик.

– Мальчик! Какая из себя мисс Хэвишем? – снова начал мистер Памблчук, когда немного оправился.

Он крепко скрестил руки на груди и снова пустил в ход свой штопор.

– Очень высокая, с черными волосами, – отвечал я.

– Это верно, дядя? – спросила сестра.

Мистер Памблчук утвердительно подмигнул, из чего я сразу заключил, что он никогда не видел мисс Хэвишем, потому что она была совсем не такая.

– Очень хорошо! – самодовольно сказал мистер Памблчук. (Вот как с ним нужно обращаться! Кажется, сударыня, наша берет?)

– Ах, дядя, – сказала миссис Джо, – как жаль, что он мало с вами бывает. Только вы и умеете добиться от него толку.

– Ну, мальчик, а что она делала, когда ты к ней пришел? – спросил мистер Памблчук.

– Сидела в черной бархатной карете.

Мистер Памблчук и миссис Джо удивленно воззрились друг на друга – еще бы им было не удивиться! – и оба повторили:

– В черной бархатной карете?

– Да, – сказал я. – А мисс Эстелла – это, кажется, ее племянница – подавала ей в окошко пирог и вино на золотой тарелке. И мы все ели пирог с золотых тарелок и пили вино. Я со своей тарелкой влез на запятки, потому что она мне велела.

– А еще кто-нибудь там был? – спросил мистер Памблчук.

– Четыре собаки, – ответил я.

– Большие или маленькие?

– Громадные. И они ели телячьи котлеты из серебряной корзины и передрались.

Мистер Памблчук и миссис Джо снова изумленно воззрились друг на друга. У меня же совсем ум за разум зашел, как у отчаявшегося свидетеля под пыткой, и я способен был в ту минуту наговорить им чего угодно.

– Боже милостивый, да где же стояла карета? – спросила сестра.

– В комнате у мисс Хэвишем. – Они удивились еще больше. – Только она была без лошадей. – Эту спасительную оговорку я добавил после того, как мысленно отменил четверку коней в богатой сбруе, которых чуть было сгоряча не запряг в карету.

– Возможно ли это, дядя? – спросила миссис Джо. – Что он такое несет?

– Сейчас я вам скажу, сударыня, – отвечал мистер Памблчук. – Сдается мне, что это портшез. Она, знаете ли, с причудами, с большими причудами, с нее станется целые дни проводить в портшезе.

– А вы когда-нибудь видели, чтобы она в нем сидела, дядя? – спросила миссис Джо.

– Как я мог это видеть, – сказал мистер Памблчук, припертый к стене, – когда я и ее-то отродясь не видел?

– Ах, боже мой, дядя? Но ведь вы с ней разговаривали?

– Разве вы не знаете, – недовольно отозвался он, – что, когда я там бывал, меня оставляли снаружи за приоткрытой дверью, и она со мной разговаривала, не выходя из комнаты. Не могли вы этого не знать, сударыня. Вот мальчик – другое дело, он ходил к ней играть. Во что ты там играл, мальчик?

– Мы играли во флаги, – сказал я. (Должен заметить, что я сам поражаюсь, вспоминая, сколько я тогда выдумал всяких небылиц.)

– Во флаги? – ахнула сестра.

– Да. Эстелла махала синим флагом, а я красным, и мисс Хэвишем тоже махала флагом из окошка кареты, у нее флаг был весь в золотых звездочках. А потом мы все размахивали саблями и кричали «ура».

– Саблями! – повторила сестра. – А где вы взяли сабли?

– В шкафу. Я в нем видел еще пистолеты… и варенье… и лекарство. А в комнате было совсем темно, только горело много свечей.

– Это правда, сударыня, – сказал мистер Памблчук, важно покивав головой. – Можете не сомневаться, это я и сам видел. – И они оба воззрились на меня, а я, изобразив на лице полнейшее простодушие, воззрился на них и стал разглаживать рукой смятую штанину.

Задай они мне еще хотя бы один вопрос, и я бы, несомненно, попался, потому что уже выдумал, что видел во дворе у мисс Хэвишем воздушный шар, и, вероятно, сообщил бы им об этом, если бы мне одновременно не пришла в голову другая выдумка – будто в пивоварне сидел живой медведь. Однако они так оживленно обсуждали диковины, которые я уже успел предложить их вниманию, что им было не до меня. Они все еще не наговорились, когда Джо зашел из кузницы выпить чашку чаю. И сестра – не столько для его сведения, сколько для облегчения собственной души – доложила ему обо всем, что якобы произошло со мной.

И тут, когда Джо, широко раскрыв свои голубые глаза, стал недоуменно и беспомощно озираться по сторонам, меня охватило раскаяние, но только по отношению к нему, – до тех двоих мне не было дела. Перед Джо, и только перед Джо я чувствовал себя малолетним чудовищем, когда они обсуждали, какие выгоды могут проистечь для меня из знакомства с мисс Хэвишем. Все они были уверены, что мисс Хэвишем как-нибудь облагодетельствует меня, и расходились лишь в том, во что ее благодеяние выльется. Сестра толковала о богатых подарках, мистер Памблчук склонялся к мысли о щедрой плате за обучение какому-нибудь приличному, благородному делу – скажем, к примеру, торговле семенами и зерном. Джо окончательно пал

в их глазах, высказав остроумное предположение, что мне всего-навсего подарят одну из тех собак, которые дрались из-за телячьих котлет.

– Если умнее этого ты своей глупой головой ничего не можешь придумать, – сказала сестра, – и если тебя ждет работа, так ты лучше иди и работай. – И он пошел.

Когда сестра, проводив мистера Памблчука, стала мыть посуду, я улизнул в кузницу и примостился около Джо, дожидаясь, когда он кончит, а потом заговорил:

– Джо, пока не погас огонь, я хочу сказать тебе одну вещь.

– Хочешь сказать? – молвил Джо, пододвигая к горну низкую скамеечку, на которую он садился, когда ковал лошадей. – Ну так скажи. Я тебя слушаю, Пип.

– Джо, – сказал я и, ухватив рукав его рубашки, закатанный выше локтя, стал крутить его двумя пальцами, – ты помнишь, что там было, у мисс Хэвишем?

– А как же! – сказал Джо. – Неужто нет! Чудеса, да и только!

– Вот в том-то и беда, Джо. Это все неправда.

– Да ты что это говоришь, Пип? – воскликнул Джо, отшатываясь от меня в величайшем изумлении. – Как же, значит ты…

– Да, Джо. Я все наврал.

– Но не совсем же все? Этак выходит, Пип, что там не было черной бархатной каре… – Он не договорил, увидев, что я качаю головой. – Но собаки-то уж наверно были, Пип? – умоляюще протянул Джо. – Ладно, пусть телячьих котлет не было, но собаки-то были?

– Нет, Джо.

– Ну хоть одна собака? – сказал Джо. – Хоть щеночек. А?

– Нет, Джо, ничего не было.

Я мрачно уставился на него, а он не отводил от меня огорченного, растерянного взгляда.

– Пип, дружок, ведь это никуда не годится! Ты сам подумай, что за это может быть?

– Это ужасно, Джо. Да?

– Ужасно? – вскричал Джо. – Просто уму непостижимо! И что на тебя нашло?

– Я не знаю, что на меня нашло, Джо, – отвечал я и, отпустив его рукав, уселся в кучу золы у его ног и понурил голову, – но только зачем ты научил меня говорить вместо трефы – крести и почему у меня такие грубые башмаки и такие шершавые руки?

И тут я рассказал Джо, что мне очень худо, и что я не сумел ничего объяснить миссис Джо и Памблчуку, потому что они меня совсем задергали, и что у мисс Хэвишем была очень красивая девочка, страшная гордячка, и она сказала, что я – самый обыкновенный деревенский мальчик, и это так и есть, и очень мне неприятно, и отсюда и пошла вся моя ложь, хотя как это получилось – я и сам не знаю.

Это был чисто метафизический вопрос, уж конечно, не менее трудный для Джо, чем для меня. Но Джо изъял его из области метафизики и таким способом справился с ним.

– В одном ты можешь не сомневаться, Пип, – сказал он, поразмыслив немного. – Ложь – она и есть ложь. Откуда бы она ни шла, все равно плохо, потому что идет она от отца лжи и к нему же обратно и приводит. Чтобы больше этого не было, Пип. Таким манером ты, дружок, от своей обыкновенности не избавишься. К тому же, тут что-то не так. Ты кое в чем совсем даже необыкновенный. Вот, скажем, роста ты необыкновенно маленького. Опять же, ученость у тебя необыкновенная.

– Нет, Джо, какой уж я ученый!

– А ты вспомни, какое ты вчера письмо написал! – сказал Джо. – Да еще печатными буквами! Видал я на своем веку письма, и притом от господ, – так и то, головой тебе ручаюсь, они были написаны не печатными буквами.

– Ничего я не знаю, Джо. Просто тебе хочется меня утешить.

– Ну, Пип, – сказал Джо, – так ли это, нет ли, еще неизвестно, но ты сам посуди, ведь до того, как стать необыкновенным ученым, надо быть обыкновенным или нет? Возьми хоть

короля – сидит он на троне, с короной на голове, а разве мог бы он писать законы печатными буквами, если бы не начал с азбуки, когда еще был в чине принца? Да! – прибавил Джо и многозначительно тряхнул головой, – если бы он не начал с первой буквы и не одолел бы их все как есть до самой последней? Я-то знаю, что это такое, хоть и не могу сказать, чтобы сам одолел.

В этих мудрых словах был проблеск надежды, и я немного воспрянул духом.

– Оно, пожалуй, и лучше было бы, – задумчиво продолжал Джо, – кабы обыкновенные люди, то есть кто попроще да победнее, так бы и держались друг за дружку, а не ходили играть с необыкновенными… кстати, флаг-то, может, все-таки был?

– Нет, Джо.

– Очень мне жалко, Пип, что флага не было. Но уж лучше там или не лучше, мы этого сейчас не будем касаться, не то сестра твоя сразу начнет лютовать; а уж самим на это напрашиваться – распоследнее дело. Ты послушай, Пип, что тебе скажет твой верный друг. Вот тебе твой верный друг что скажет: хочешь стать необыкновенным – добивайся своего правдой, а кривдой никогда ничего не добьешься. Так что гляди, чтоб больше этого не было, Пип, тогда и проживешь счастливо, и умрешь спокойно.

– Ты на меня не сердишься, Джо?

– Нет, дружок. Но ежели вспомнить, каких ты только басен ни выдумал и как у тебя только на это духу хватило, – это я про телячьи котлеты, ну и что собаки дрались, – так искренний доброжелатель посоветовал бы тебе, Пип, чтобы ты еще хорошенько обо всем этом подумал, когда пойдешь к себе наверх спать. Вот тебе и весь сказ, дружок, и больше так не делай.

Когда, поднявшись в свою каморку, я стал читать молитвы, я твердо помнил наставления Джо; а между тем юный мой ум был так взбудоражен и столь чужд благодарности, что, улегшись в постель, я еще долго думал о том, каким обыкновенным показался бы Эстелле Джо – простой кузнец, – какие у него грубые башмаки и какие шершавые руки. Я думал о том, что Джо и моя сестра сидят сейчас в кухне, и сам я только что пришел из кухни, а вот мисс Хэвишем и Эстелла никогда не сидят в кухне – такая обыкновенная жизнь неизмеримо ниже их достоинства. Я заснул, вспоминая, как, «бывало», проводил время у мисс Хэвишем, словно я пробыл там не каких-нибудь два-три часа, а несколько недель или месяцев, словно воспоминания эти не родились только сегодня, а были давнишними и привычными.

То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым. Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день, и подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвила бы вас, если бы первое звено ее не было выковано в какой-то один, навсегда памятный для вас день.

ГЛАВА X

Как-то утром я проснулся со счастливой мыслью, что, если я хочу стать необыкновенным, хорошо бы для начала позаимствовать у Бидди все, чему она успела выучиться. В осуществление этого блестящего замысла я в тот же вечер, придя в школу двоюродной бабушки мистера Уопсла, сказал Бидди, что по некоей важной причине я твердо намерен выйти в люди и буду ей очень обязан, если она поделится со мной своими знаниями. Бидди, добрая девочка, всегда готовая всем услужить, тотчас согласилась и, более того, немедля приступила к делу.

Систему или курс обучения, проводившийся двоюродной бабушкой мистера Уопсла, можно вкратце описать следующим образом: ученики грызли яблоки и совали друг другу за шиворот соломинки, пока двоюродная бабушка мистера Уопсла, собравшись с силами, не подступала к ним слабенькими шажками, грозя всем без разбора пучком березовых прутьев.

Встретив этот натиск презрительными смешками, ученики выстраивались в ряд и под громкое гуденье начинали передавать друг другу истрепанную книжку. В этой книжке был алфавит, кое-какие цифры и таблицы и несколько страниц упражнений для чтения, – вернее, имелись признаки того, что когда-то все это в ней было. Как только сей фолиант пускали по рукам, двоюродная бабушка мистера Уопсла впадала в транс – состояние, вызывавшееся либо старческой сонливостью, либо приступом ревматизма. Тогда ученики сами себе устраивали конкурсный экзамен по увлекательнейшему предмету – башмакам, имевший целью выяснить, кто кому больнее наступит на ногу. Эта гимнастика для ума продолжалась до тех пор, пока Бидди, взяв учеников штурмом, не раздавала им три обветшалых Библии (такой формы, точно их неумело отрубили от толстого бревна), напечатанные более неразборчиво, чем все антикварные книги, какие с тех пор попадались мне на глаза, украшенные разноцветными пятнами плесени и хранящие между своими листами сплющенные трупы множества разнообразных насекомых. Эта часть учебной программы обычно проходила оживленно благодаря поединкам, которые то и дело завязывались между Бидди и непокорными школярами. По окончании военных действий Бидди называла страницу, и мы душераздирающим хором читали вслух, что могли (и что не могли) разобрать, причем Бидди вела первый голос все на одной и той же высокой, пронзительной ноте, и никто из нас не понимал ни единого слова и не испытывал ни малейшего чувства благоговения. Этот безобразный шум длился довольно долго, но в конце концов от него просыпалась двоюродная бабушка мистера Уопсла и, выбрав наудачу какого-нибудь мальчика, ковыляла к нему, чтобы надрать ему уши. Так нам давалось понять, что на сегодня занятия окончены, и мы выбегали на улицу, оглашая воздух победными кликами во славу науки. Справедливости ради следует заметить, что ученикам не возбранялось побаловаться грифельной доской или даже чернилами (если таковые имелись в наличии), но зимой эти ученые занятия оказывались почти недоступными, поскольку мелочная лавочка, где происходили уроки, служившая двоюродной бабушке мистера Уопсла также гостиной и спальней, освещалась одной-единственной подслеповатой сальной свечой, с которой к тому же нечем было снимать нагар.

Меня беспокоило, что при таких обстоятельствах немало времени уйдет на то, чтобы стать необыкновенным; но все же я решил попробовать и, заключив с Бидди особое соглашение, тут же получил от нее кое-какие сведения, содержавшиеся в ее маленьком прейскуранте под рубрикой «мелкий сахар», а также – для домашнего списывания – заглавное староанглийское Д, которое она срисовала с названия какой-то газеты и которое я лишь после ее разъяснений перестал принимать за изображение пряжки.

Само собой разумеется, в нашей деревне был трактир, и, само собой разумеется, Джо любил иногда посидеть там и выкурить трубочку. В тот вечер я получил от сестры строгий наказ – по пути из школы зайти за ним к «Трем Веселым Матросам» и привести его домой живого или мертвого. К «Трем Веселым Матросам» я поэтому и направил свой путь.

В первой комнате трактира была стойка, а за ней, на стене возле двери, – написанные мелом удручающе-длинные счета, по которым, как мне казалось, никто никогда не платил. Я видел их там с тех пор, как себя помнил, и росли они быстрее, чем я. Впрочем, мела в нашей местности было хоть отбавляй, и люди, возможно, пользовались всяким случаем, чтобы пустить его в дело.

Поскольку описываемый мною вечер приходился в субботу, я застал хозяина за мрачным созерцанием этих записей, но мне был нужен не он, а Джо, и потому я только поздоровался с ним и прошел дальше по коридору в заднюю комнату, где в очаге ярко пылал огонь и Джо курил свою трубочку в обществе мистера Уопсла и еще какого-то незнакомого мне человека. Джо встретил меня обычным своим приветствием: «А, Пип, здорово, дружок!» – и не успел он произнести эти слова, как незнакомец обернулся и посмотрел на меня.

В этом человеке, которого я видел впервые, было немало таинственного. Голову он держал набок, и один глаз у него был прищурен, точно он целился во что-то из невидимого ружья.

Он курил трубку, а тут вынул ее изо рта, медленно, не сводя с меня пристального взгляда, выпустил дым и кивнул головой. Я тоже кивнул, и тогда он кивнул еще раз и подвинулся на скамье, приглашая меня сесть с ним рядом.

Но так как я привык, бывая в этом приюте отдохновения, всегда садиться рядом с Джо, я только поблагодарил его и сел на скамью напротив, где Джо уже освободил мне местечко. Тогда незнакомец, взглянув на Джо и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, снова кивнул мне головой и потер себе ногу пониже колена каким-то очень, на мой взгляд, странным движением.

– Вы как будто говорили, что вы кузнец, – сказал незнакомец, обращаясь к Джо.

– Говорил, – сказал Джо.

– Что будем пить, мистер… вы, кстати сказать, и не назвали себя.

Джо восполнил этот пробел, и теперь незнакомец обратился к нему по имени:

– Что будем пить, мистер Гарджери? За мой счет. Разгонную.

– Да знаете, – отвечал Джо, – сказать по правде, не в обычае у меня пить за чей-нибудь счет, кроме как за свой собственный.

– Не в обычае? Пусть, – возразил незнакомец, – но один-то разок не грех, особенно в субботу вечером. Ну же, мистер Гарджери, выбирайте, вам чего?

– Ладно, не буду портить компанию, – сказал Джо. – Рому.

– Рому, – повторил незнакомец. – А в каком смысле выскажется другой джентльмен?

– Рому, – сказал мистер Уопсл.

– Рому на троих! – крикнул незнакомец, вызывая хозяина. – Три стакана.

– Этот другой джентльмен. – пояснил Джо, решив, что настало время представить мистера Уопсла, – этот джентльмен – наш псаломщик. Вам бы надо послушать его в церкви.

– Ага! – быстро подхватил незнакомец и прищурился на меня, – в той церкви, что стоит на отлете от деревни, у самых болот, и вокруг нее могилы?

– Вот-вот, – сказал Джо.

Незнакомец с довольным видом крякнул, не вынимая трубки изо рта, и устроился с ногами на скамье, благо никто больше на ней не сидел. На нем была дорожная шляпа с большими обвислыми полями, а под ней платок, туго повязанный вокруг головы, так что волос совсем не было видно. Он смотрел на огонь, и мне показалось, что лицо у него стало вдруг очень хитрое; потом он усмехнулся.

– Я в этих краях не бывал, джентльмены, но сдается мне, что местность у вас тут ближе к реке пустынная.

– Болота все больше бывают пустынные, – сказал Джо.

– Ну, конечно, конечно. А случается вам встретить там цыган, либо каких-нибудь бродяг или нищих?

– Нет, – сказал Джо. – Разве что беглого арестанта. Да и те попадаются не часто. Верно я говорю, мистер Уопсл?

Мистер Уопсл милостиво, но несколько холодно подтвердил слова Джо, напомнившие ему бесславную страницу его жизни.

– Вам, видно, случалось их ловить? – спросил незнакомец.

– Один раз было дело, – отвечал Джо. – Мы-то, впрочем, не старались их поймать, просто поглядеть хотелось, вот и пошли, – мистер Уопсл и мы с Пипом. Верно, Пип?

– Да, Джо.

Незнакомец опять посмотрел на меня – по-прежнему прищурив один глаз, точно старательно целясь в меня из своего невидимого ружья, – и сказал:

– А паренек у вас ничего, подходящий. Как вы его зовете-то?

– Пип, – сказал Джо.

– Это такое имя?

– Нет, не имя.

– Значит, фамилия?

– Нет, – сказал Джо. – Это вроде как семейное прозвище, он сам себя так окрестил, когда был совсем маленький, ну, и все его так зовут.

– Ваш сын?

– Да как вам сказать… – глубокомысленно протянул Джо, хотя размышлять тут было решительно не о чем, просто уж так повелось у «Трех Веселых Матросов» – попыхивая трубкой, принимать глубокомысленный вид, о чем бы ни зашел разговор. – Пожалуй что нет. Нет, не сын.

– Племянник?

– Да как вам сказать… – протянул Джо все с тем же выражением глубокого раздумья, – нет, не стану вас обманывать, нет, не племянник.

– Так кто же он вам, черт подери? – спросил незнакомец, и мне послышалась в его вопросе совершенно излишняя горячность.

Тут в беседу вступил мистер Уопсл; будучи хорошо осведомлен в вопросах родства, поскольку ему по долгу службы полагалось помнить всех родственников, с коими не разрешается вступать в брак, он подробно разъяснил, какие узы связывают меня с Джо. Увлекшись, мистер Уопсл в заключение своей речи грозно прорычал какой-то монолог из «Ричарда Третьего» и добавил: «Как сказал поэт», видимо считая, что этим достаточно оправдал свое поведение.

Замечу кстати, что, упоминая обо мне, мистер Уопсл всякий раз считал своим долгом взъерошить мои волосы и спустить их мне на глаза. Одному Богу известно, зачем и он, и все, кто бывал у нас в гостях, подвергали мои глаза этой пытке. Но в моем детстве не было, кажется, ни одного случая, чтобы при упоминании обо мне какой-нибудь обладатель огромной ручищи не выразил мне своего покровительства таким вот глазоубийственным способом.

Все это время незнакомец не отрываясь смотрел на меня, да так смотрел, словно твердо решил в конце концов выстрелить и уложить меня на месте. Однако после того, как он помянул черта, он ни разу не раскрыл рта до тех самых пор, пока не подали стаканы с ромом; вот тут-то он и выстрелил, и выстрел этот был совсем особенный.

То были не слова, а некая пантомима, которую он разыграл специально для меня. Он специально для меня помешал в стакане и специально для меня попробовал свой ром с водой, причем и пробовал он его, и помешивал не ложкой, которую ему подали, а *подпилком.*

Он сделал это так, что никто, кроме меня, подпилка не видел, и тут же вытер его и спрятал в карман. Но я мгновенно понял, что это подпилок Джо и что странный человек знаком с моим каторжником. Как завороженный, я сидел и смотрел на него, но он, словно забыв о моем существовании, развалился на скамье и безмятежно беседовал, главным образом о кормовой репе.

Субботними вечерами на нашу деревню нисходило сладостное чувство, словно все дела сделаны и можно спокойно передохнуть перед тем, как жить дальше, – и, поддаваясь этому чувству, Джо осмеливался по субботам засиживаться в трактире на полчаса дольше, чем в другие дни. Когда же эти полчаса и ром с водой одновременно подошли к концу, он поднялся и взял меня за руку.

– Одну минутку, мистер Гарджери, – сказал незнакомец. – Кажется, у меня где-то есть блестящий новенький шиллинг; если это так, ваш мальчик его сейчас получит.

Он вытащил из кармана горсть мелочи, порылся в ней и, найдя шиллинг, завернул его в какую-то смятую бумажку и вложил мне в руку.

– Это тебе, – сказал он. – Помни: тебе, и никому другому.

Я поблагодарил, вытаращив на него глаза вопреки всем правилам приличия и крепко держась за Джо. Он попрощался с Джо, попрощался с мистером Уопслом, который уходил

вместе с нами, а на меня только посмотрел своим нацеленным глазом, – нет, даже не посмотрел, потому что глаз у него был прищурен, но чего только не выразит глаз, если его закрыть!

Будь у меня желание поговорить, я мог бы болтать без умолку до самого дома, ибо мистер Уопсл расстался с нами у двери «Трех Веселых Матросов», а Джо всю дорогу держал рот широко открытым, чтобы как можно основательнее выветрить из него запах рома. Но я был ошеломлен тем, как внезапно всплыли из прошлого мое давнишнее преступление и мой давнишний знакомец, и ни о чем другом не мог думать.

Переступив порог кухни, мы застали мою сестру в не особенно скверном расположении духа, и это необычайное обстоятельство побудило Джо рассказать ей про новенький шиллинг.

– Бьюсь об заклад, что фальшивый, – торжествующе заявила сестра, – иначе с какой стати он дал бы его мальчишке? А ну-ка, покажи.

Я развернул бумажку, шиллинг оказался не фальшивый.

– А это что такое? – сказала миссис Джо, бросив его на стол и хватая бумажку. – Два билета по фунту стерлингов?

Да, именно так, – два засаленных билета по фунту стерлингов, казалось обошедших на своем веку все скотопригонные рынки графства. Джо схватил шапку и побежал к «Трем Веселым Матросам» вернуть деньги владельцу. А я, в ожидании его, уселся на свою скамеечку и рассеянно поглядывал на сестру, говоря себе, что незнакомца наверняка не окажется на месте.

Вскоре Джо возвратился с известием, что тот человек ушел, но что он, Джо, велел передать, где он может получить свои деньги. Тогда сестра крепко обернула их бумагой и положила под сухие розовые лепестки в чайник, украшавший собою верхнюю полку буфета в парадной гостиной. Там они и остались лежать и мучили меня как тяжелый сон в течение многих дней и ночей.

Я пошел спать, но почти не сомкнул глаз до утра, вспоминая, как незнакомец целился в меня из невидимого ружья, и терзаясь тем, какое я грубое, низкое существо, раз мог войти в тайные сношения с каторжниками, – ведь я совсем было успел забыть об этом постыдном случае. И подпилок не давал мне покоя. Меня преследовал страх, что он вдруг опять появится в самую неожиданную минуту. В конце концов я заставил себя заснуть, думая о том, как я в среду пойду к мисс Хэвишем; но мне приснилось, что в комнату входит подпилок, а кто его держит – не видно, и я закричал так громко, что снова проснулся.

ГЛАВА XI

В назначенное время я был около дома мисс Хэвишем, и на мой робкий звонок к калитке вышла Эстелла. Впустив меня, она, как и в первый раз, заперла калитку и предоставила мне следовать за собой в темную прихожую, где стояла ее свеча. Казалось, она вовсе не замечала меня и только сейчас оглянулась через плечо, сказала надменно: «Сегодня ты пойдешь вот сюда» – и повела меня совсем в другую часть дома.

Коридор был длинный, – очевидно, он огибал весь первый этаж. Однако мы прошли только вдоль одной стороны, и здесь Эстелла остановилась, поставила свечу и отворила какую-то дверь. Дневной свет ударил мне в лицо, я очутился в небольшом мощеном дворике, противоположную сторону которого замыкал флигель, когда-то, видимо, принадлежавший управляющему заброшенной пивоварней. В стену флигеля вделаны были часы. Так же, как большие часы в комнате мисс Хэвишем и как ее золотые часики, они показывали без двадцати минут девять.

Через отворенную дверь мы прошли в мрачную низкую комнату на первом этаже. Здесь сидело несколько человек гостей, и Эстелла присоединилась к ним, бросив на ходу: «Ты постой вон там, мальчик, пока тебя позовут». Поскольку «Вон там» означало у окна, я проследовал к окну и, с ощущением величайшей неловкости, уткнулся носом в стекло.

Окно приходилось на уровне земли и смотрело в самый неприглядный уголок запущенного сада, где из грядок торчали гниющие остатки капустных кочнов и одинокий куст самшита. Когда-то, давным-давно, он был подстрижен в виде пудинга, а теперь из него лезли кверху новые ветки другого цвета, точно пудинг в этом месте пристал к форме и подгорел, – это нехитрое сравнение пришло мне в голову, пока я глядел на старый самшитовый куст. Накануне выпал снежок, но везде он как будто успел растаять; только в этом глухом уголке, куда не проникало солнце, снег еще залежался, и ветер подхватывал его и горстями швырял в окно, словно норовил ударить меня за то, что я посмел сюда прийти.

Я чувствовал, что при моем появлении люди, сидевшие в комнате, прекратили начатый разговор и теперь смотрят на меня. Комнату мне не было видно, я видел только отсвет камина в оконном стекле, но от сознания, что меня внимательно разглядывают, я весь сжался и закостенел.

В комнате сидели три леди и один джентльмен. Я не простоял у окна и пяти минут, как у меня сложилось впечатление, что все они – подхалимы и жулики, но что каждый из них делает вид, будто не знает, что остальные – подхалимы и жулики, потому что, признав это, каждый тем самым должен был и себя причислить к подхалимам и жуликам.

Казалось, все они скучают и томятся, ожидая, когда кто-то соизволит заметить их присутствие, а самая разговорчивая из трех леди нарочно растягивала слова, чтобы сдержать зевоту. Леди эта, которую называли Камилла, очень напомнила мне мою сестру, только она была постарше и (как я убедился, когда разглядел ее) с менее резкими чертами лица. Впрочем, узнав ее поближе, я подумал: хорошо еще, что у нее есть хоть какие-нибудь черты, – так похоже было ее лицо на глухую стену.

– Бедняга! – сказала эта леди отрывисто и сердито, точь-в-точь как моя сестра. – Он этим только самому себе вредит.

– Лучше бы он вредил кому-нибудь другому, – сказал джентльмен. – Это гораздо естественнее и разумнее.

– Кузен Рэймонд, – возразила другая леди, – ведь мы должны любить своих ближних.

– Сара Покет, – отвечал кузен Рэймонд, – кто же человеку ближе, чем он сам?

Мисс Покет засмеялась, и Камилла тоже засмеялась и сказала (сдерживая зевок): «Надо же выдумать такое!» Но мне показалось, что выдумка-то им понравилась. Третья леди, до тех пор молчавшая, сказала сурово и с убеждением: «Совершенно верно!»

– Бедняга! – продолжала Камилла после некоторого молчания. (Я знал, что, пока оно длилось, все они смотрели на меня.) Он такой странный! Вы не поверите, когда у Тома умерла жена, ему невозможно было втолковать, что девочкам просто необходимы траурные платья с плерезами. «Ах, боже мой, Камилла, – сказал он, – не все ли равно, лишь бы бедные сиротки были в черном!» Это так похоже на Мэтью. Ведь надо же выдумать такое!

– В нем есть хорошие стороны, есть хорошие стороны, – сказал кузен Рэймонд. – Я этого не отрицаю, боже сохрани, но у него никогда не было и не будет ни малейшего понятия о приличиях.

– Поверите ли, – продолжала Камилла, – я была вынуждена, просто вынуждена была настоять на своем. Я сказала: «Нет, мне дорог престиж семьи, и я *этого не допущу*». Я ему прямо заявила, что, если не будет платьев с плерезами, это набросит тень на всю семью. Я твердила об этом не переставая, с завтрака и до обеда. Я расстроила себе пищеварение. В конце концов он вспылил, как это свойственно его несдержанной натуре, и сказал: «Делай как знаешь», и даже прибавил одно очень некрасивое слово. Но мне до конца дней будет утешением, что я в ту же минуту вышла из дому под проливным дождем и купила все, что нужно.

– А заплатил, вероятно, он? – спросила Эстелла.

– Не важно, кто заплатил, дитя мое, – отвечала Камилла. – Купила все я. И еще не раз, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать об этом с удовлетворением.

Тут все замолчали, услышав далекий звон колокольчика и чей-то оклик, эхом отдавшийся в коридоре, по которому мы пришли, и Эстелла сказала: «Пойдем, мальчик!» Когда я обернулся, все они посмотрели на меня с величайшим презрением, и, выходя из комнаты, я услышал слова Сары Покет: «Ну, знаете ли, это уж слишком!» – и негодующее восклицание Камиллы: «Ведь надо же выдумать такое!»

Мы быстро шли со свечой по темному коридору, но вдруг Эстелла остановилась и, круто повернувшись, так что лицо ее оказалось вплотную к моему, сказала задорно:

– Ну что?

– Ничего, мисс, – отвечал я, чуть не налетев на нее с разбегу.

Она стояла и смотрела на меня, а я, естественно, смотрел на нее.

– Так я красивая?

– Да, по-моему, очень красивая.

– И злая?

– Не такая, как в тот раз.

– Не такая?

– Нет.

Задавая последний вопрос, она вспыхнула, а услышав мой ответ, изо всей силы ударила меня по лицу.

– Ну? – сказала она. – Что ты теперь обо мне думаешь, заморыш несчастный?

– Не скажу.

– Потому что хочешь нажаловаться там, наверху. Так?

– Нет, не так.

– Почему ты сегодня не плачешь, гаденыш?

– Потому что я никогда больше не буду из-за вас плакать, – сказал я. И бессовестно солгал: уже тогда я горько плакал в душе, а сколько мне пришлось выстрадать из-за нее в позднейшие годы, о том знаю я один.

После этой задержки мы пошли дальше и, поднимаясь по лестнице, чуть не столкнулись с каким-то джентльменом, который ощупью спускался нам навстречу.

– Это кто же у нас тут? – спросил джентльмен, останавливаясь и глядя на меня.

– Один мальчик, – сказала Эстелла.

Передо мной стоял плотный мужчина, необычайно смуглый, с необычайно крупной головой и такими же руками. Он взял меня своей большой рукой за подбородок и повернул лицом к свету, падавшему от свечи. У него была лысая, не по годам, макушка, черные мохнатые брови упрямо топорщились. Глаза, очень глубоко посаженные, глядели недоверчиво и проницательно, словно видели меня насквозь. Из кармашка у него свисала массивная цепочка от часов, а лицо, там, где росли бы усы и борода, если бы он их не брил, было усеяно черными точками. Это был посторонний для меня человек, я не мог предвидеть тогда, что он будет что-то для меня значить, но случайно мне представилась возможность как следует разглядеть его.

– Деревенский мальчик, да? – сказал он.

– Да, сэр, – сказал я.

– Как же ты здесь очутился?

– Мисс Хэвишем за мной послала, сэр, – объяснил я.

– Ну, веди себя хорошо. Я кое-что знаю о мальчиках и могу сказать – народец вы неважный. Так помни! – повторил он, строго глядя на меня и покусывая свой длинный указательный палец. – Веди себя хорошо!

С этими словами он отпустил меня (чему я очень обрадовался, потому что рука его неприятно пахла душистым мылом) и пошел дальше, вниз по лестнице. Сначала я подумал, что это, может быть, доктор, но потом решил – нет, доктор был бы спокойнее и обходительнее. Впрочем, долго размышлять над этим мне не пришлось, потому что мы уже входили в комнату

мисс Хэвишем, где все, начиная с нее самой, было в точности таким же, как несколько дней назад, когда я уходил отсюда. Эстелла покинула меня у двери, и я стоял молча, покуда мисс Хэвишем не увидела меня со своего места у туалетного стола.

– Так! – сказала она, не выказав ни испуга, ни удивления. – Значит, дни пробежали?

– Да, мэм. Нынче уже…

– Не надо, не надо! – Пальцы нетерпеливо зашевелились. – Я не хочу знать. Играть ты сегодня можешь?

Я растерялся и вынужден был ответить:

– Наверно, нет, мэм.

– А в карты, как тогда? – спросила она, пытливо взглянув на меня.

– В карты могу, мэм, если вы прикажете.

– Раз в этом доме ты не чувствуешь себя ребенком, – в голосе мисс Хэвишем послышалась досада, – и раз тебе не хочется играть, может быть, хочешь поработать?

Этот вопрос пришелся мне куда больше по душе, чем предыдущий, и я сказал, что с удовольствием поработаю.

– Тогда пройди вон в ту комнату, – сказала она, указывая морщинистой рукой на дверь, которую я еще не успел затворить, – и подожди меня там.

Я послушался и отворил другую дверь, через площадку. Из этой комнаты дневной свет был тоже изгнан, и воздух в ней был тяжелый и спертый. В старомодном отсыревшем камине, как видно, только что зажгли огонь, но он более склонен был погаснуть, чем разгореться, и дым, лениво повисший над ним, казался холоднее воздуха – как туман на наших болотах. С высокой каминной полки несколько свечей, похожих на голые ветки, едва освещали комнату, вернее – едва рассеивали царившую в ней тьму. Это была просторная зала, когда-то, вероятно, богато убранная; но сейчас все предметы, какие я мог в ней различить, вконец обветшали, покрылись пылью и плесенью. На самом видном месте стоял стол, застланный скатертью, – в то время, когда все часы и вся жизнь в доме внезапно остановились, здесь, видно, готовился пир. Посредине стола красовалось нечто вроде вазы, так густо обвешанной паутиной, что не было возможности разобрать, какой оно формы; и, глядя на желтую ширь скатерти, из которой ваза эта, казалось, вырастала как большой черный гриб, я увидел толстых, раздувшихся пауков с пятнистыми лапками, спешивших в это свое убежище и снова выбегавших оттуда, словно бы в паучьем мире только что разнеслась весть о каком-то в высшей степени важном происшествии.

А за обшивкой стен слышалась мышиная возня, – видно, и мышей это событие тоже близко касалось. Зато черные тараканы не обращали ни малейшего внимания на всю эту суету; они не спеша, по-стариковски, бродили возле камина, словно были подслеповаты и туги на ухо, и к тому же не ладили между собой.

Завороженный видом этих ползучих тварей, я издали наблюдал за ними, как вдруг почувствовал, что мисс Хэвишем положила руку мне на плечо. Другой рукой она опиралась на толстую клюку – ни дать ни взять колдунья, страшная хозяйка этих мест.

– Вот здесь, – сказала она, указывая клюкой на длинный стол, – здесь меня положат, когда я умру. А они придут и будут смотреть на меня.

Охваченный смутным опасением, как бы она тут же не улеглась на стол и не умерла, окончательно уподобившись той жуткой восковой фигуре на ярмарке, я весь сжался от прикосновения ее руки.

– Как ты думаешь, что это такое? – спросила она, снова указывая клюкой на стол. – Вот это, где паутина.

– Не знаю, мэм, не могу догадаться.

– Это большой пирог. Свадебный пирог. Мой.

Она горящими глазами оглядела комнату, а потом сказала, крепко опершись рукой о мое плечо:

– Ну, пойдем скорее! Веди меня, веди!

Из ее слов я заключил, что это и будет моя работа – водить мисс Хэвишем по комнате, все кругом и кругом. Я не стал мешкать, и мы пустились в путь так бодро, словно задались целью (во исполнение шальной мысли, мелькнувшей у меня в тот раз) изобразить лошадку мистера Памблчука.

Сил у мисс Хэвишем было немного, и скоро она сказала: «Потише!» – но мы все же подвигались вперед судорожным, неровным аллюром, и рука ее, лежавшая у меня на плече, подрагивала, а губы кривились, и этим она внушала мне, что мы быстро бежим, потому что мысли ее бежали быстро. Наконец она сказала: «Позови Эстеллу!» – и я вышел на площадку и стал во весь голос кликать ее, как и в прошлый раз. Когда вдали показалась ее свеча, я возвратился к мисс Хэвишем, и мы снова затрусили по комнате, все кругом и кругом.

Будь Эстелла единственным свидетелем нашего времяпрепровождения, мне и то было бы достаточно неловко; но она привела с собой тех трех леди и джентльмена, которых я видел внизу, и я просто не знал куда деваться. Из вежливости я хотел было остановиться, однако мисс Хэвишем больно сжала мое плечо, мы понеслись дальше, и я сгорал от стыда, чувствуя, что они видят во мне виновника этой затеи.

– Дорогая мисс Хэвишем, вы прекрасно выглядите, – сказала Сара Покет.

– Неправда, – отвечала мисс Хэвишем. – Только и есть, что желтая кожа да кости.

Камилла так и расцвела, услышав, какой отпор встретила мисс Покет, и жалобно простонала, бросая на мисс Хэвишем сострадательные взгляды:

– Ах, бедненькая! Ну где ей, бедняжке, хорошо выглядеть? Надо же выдумать такое!

– А вы как поживаете? – обратилась мисс Хэвишем к Камилле.

В это время мы как раз проходили мимо нее, и я хотел остановиться, но мисс Хэвишем не пожелала останавливаться. Мы проследовали дальше, и я почувствовал, что Камилла воспылала ко мне ненавистью.

– Благодарю вас, мисс Хэвишем, – отвечала она, – я здорова, насколько это для меня возможно.

– А что с вами? – спросила мисс Хэвишем далеко не любезным тоном.

– Ничего такого, о чем бы стоило упоминать, – отвечала Камилла. – Я стараюсь не выставлять напоказ свои чувства, но последнее время я столько думаю о вас по ночам, что это не может не отразиться на моем здоровье.

– Так не думайте обо мне, – отрезала мисс Хэвишем.

– Легко сказать! – нежно возразила Камилла и всхлипнула, причем верхняя губа ее приподнялась, а из глаз брызнули слезы. – Вот и Рэймонд скажет, сколько имбирной настойки и нюхательной соли мне приходится ставить на ночь возле кровати. Рэймонд вам скажет, как часто ноги у меня сводит нервная судорога. Впрочем, и спазмы, и нервные судороги – самая обычная для меня вещь, когда меня терзает беспокойство о тех, кого я люблю. Не будь я столь привязчива и чувствительна, у меня было бы прекрасное пищеварение и железные нервы. Ничего лучшего я бы и не желала. Но не тревожиться о вас по ночам… нет, надо же выдумать такое! – И она залилась слезами.

Я решил, что Рэймонд и есть тот джентльмен, которого я перед собой вижу, и что это не кто иной, как мистер Камилла. Он тотчас поспешил на помощь своей супруге и сладким голосом стал ее успокаивать:

– Камилла, дорогая моя, всем известно, что ваши родственные чувства вас подтачивают так, что одна нога у вас уже стала короче другой.

– Я бы не сказала, моя милая, – заметила суровая леди, чей голос я до этого слышал всего один раз, – что, думая о ком-нибудь, мы тем самым получаем право чего-то ожидать от этого человека.

Мисс Сара Покет, которую я лишь теперь рассмотрел, – маленькая, сухонькая, сморщенная старушка с коричневым личиком, точно склеенным из скорлупок грецкого ореха, и большим ртом, похожим на кошачий, только без усов, – присоединилась к этому мнению, заявив:

– Ну, разумеется, нет, моя милая! Хм!

– Думать – это не трудно, – продолжала суровая леди.

– Это легче легкого, – подтвердила мисс Сара Покет.

– Да, конечно, конечно! – вскричала Камилла, чьи накипевшие чувства, видимо, переместились из ее ног в бурно вздымавшуюся грудь. – Вы тысячу раз правы! Нельзя быть такой чувствительной, но я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что гублю свое здоровье, и все же я не хотела бы стать другой, даже если бы могла. Страдания мои ужасны, но, просыпаясь по ночам, я нахожу утешение в том, что я именно такая. – И она опять разрыдалась.

За все это время мисс Хэвишем ни разу не остановилась – мы продолжали ходить по комнате все кругом и кругом, то чуть не задевая гостей, то отдаляясь от них на всю длину мрачной залы.

– Но каков Мэтью! – воскликнула Камилла. – Забыть о тех, кто ему всего ближе, ни разу не справиться, как чувствует себя мисс Хэвишем! Я иногда лежу на диване, расшнуровав корсет, лежу часами без чувств, голова у меня закинута, волосы в беспорядке, а ноги даже не знаю где…

(– Значительно выше, чем голова, моя радость, – вставил мистер Камилла.)

–…лежу в таком состоянии часами, буквально часами, – а все из-за неестественного, необъяснимого поведения Мэтью, – и хоть бы слово благодарности от кого-нибудь услышала.

– Не вижу в этом ничего удивительного, – заметила суровая леди.

– Видите ли, дорогая, – добавила мисс Сара Покет (особа тихая, но ехидная), – вам бы следовало спросить себя, от кого вы, душечка, ожидаете благодарности.

– Не ожидая ни от кого благодарности, – продолжала Камилла, – я лежу в таком состоянии часами, вот и Рэймонд вам скажет, что я буквально задыхаюсь, и имбирная настойка уже мне не помогает, а однажды меня услышали через улицу у настройщика, и его бедные невинные детки подумали, что это голуби воркуют под крышей, и когда после этого мне говорят… – тут Камилла поднесла руку к горлу, и оттуда полились звуки, столь же сложные по своему составу, как новые химические соединения.

Услышав имя Мэтью, мисс Хэвишем остановила меня, остановилась сама и стала пристально смотреть на говорившую. Под действием этого взгляда химическая деятельность Камиллы внезапно прекратилась.

– Мэтью придет ко мне тогда, – сказала мисс Хэвишем строгим голосом, – когда я буду лежать на этом столе. Вот где будет его место, – она ударила по столу клюкой, – вот здесь, у меня в головах. А вы будете стоять здесь! А ваш муж – здесь! А Сара Покет – здесь! А Джорджиана – здесь! Ну, вот вы все и знаете, где вам стоять, когда вы придете пировать над моим трупом. А теперь уходите!

Называя их по именам, она каждый раз ударяла клюкою стол в новом месте. Потом сказала:

– Веди меня, веди! – И мы снова пустились в путь.

– По-видимому, нам ничего не остается, – воскликнула Камилла, – как повиноваться и разойтись. Спасибо и на том, что я повидала предмет моей любви и родственного долга. Как ни кратко было это свидание, но, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать о нем с грустью и отрадой. Ах, если бы это утешение было дано Мэтью! Но он сам от него отказывается. Я раз навсегда решила не выставлять напоказ мои чувства, но как это тяжело, когда тебе говорят, что ты жаждешь пировать над трупами своих родных – точно ты людоед из сказки! – и когда тебя гонят прочь! Надо же выдумать такое!

Миссис Камилла уже прижала руку к своей вздымающейся груди, но тут ее подхватил мистер Камилла, и достойная леди, придав своему лицу выражение нечеловеческой твердости, – в котором ясно сквозило намерение упасть замертво, едва выйдя за дверь, – послала мисс Хэвишем воздушный поцелуй и дала себя увести. Сара Покет и Джорджиана попробовали было потягаться – кто останется в комнате последней; но перехитрить Сару было нелегко, она так ловко семенила вокруг Джорджианы, незаметно подталкивая ее к двери, что той пришлось-таки уйти первой. После этого ничто не мешало Саре Покет и самой удалиться, выразительно вздохнув на прощанье: «Да хранит вас Бог, дорогая мисс Хэвишем!» – и изобразив на своем ореховом личике улыбку, говорившую яснее слов, что она по-христиански прощает остальным их слабости и заблуждения.

Эстелла, взяв свечу, пошла проводить их вниз, а мисс Хэвишем еще некоторое время ходила, опираясь на мое плечо, но уже все медленнее и медленнее. Наконец она остановилась перед камином, постояла, бормоча что-то про себя, и сказала:

– Сегодня день моего рожденья, Пип.

Я хотел поздравить ее, но она угрожающе подняла палку.

– Я не разрешаю об этом говорить. Не разрешаю ни тем, что сейчас были здесь, ни кому-либо другому. Они приходят сюда в этот день, но упоминать о нем не смеют.

Я, разумеется, тоже не стал больше о нем упоминать.

– В этот самый день, задолго до того как ты родился, вот эту гниль, – она махнула клюкой по направлению кучи паутины на столе, – принесли и поставили здесь. Мы состарились вместе. Пирог сглодали мыши, а меня гложут зубы острее мышиных.

Она смотрела на стол, прижав к груди свою палку, – в желтом, поблекшем, когда-то белом платье, смотрела на желтую, поблекшую, когда-то белую скатерть, и казалось – все вокруг только ждет чьего-то прикосновения, чтобы рассыпаться в прах.

– Когда разрушение станет полным, – глаза мисс Хэвишем загорелись зловещим огнем, – когда меня мертвую, в подвенечном уборе, положат на свадебный стол, – пусть ему это послужит последним проклятием! – хорошо бы и это случилось в день моего рожденья.

Она смотрела на стол так, словно видела на нем себя, мертвую. Я молчал. Эстелла, воротившаяся снизу, тоже молчала. Мне казалось, что мы стоим так очень долго. Удрученный спертым воздухом комнаты, тяжелым мраком, притаившимся в ее углах, я испытывал тревожное ощущение, что и Эстелла и сам я тоже вот-вот начнем разрушаться.

Наконец мисс Хэвишем, как-то сразу очнувшись от своего бреда, сказала:

– Ну, вы играйте в карты, а я посмотрю; что же вы не начинаете?

Тогда мы вернулись в ее комнату и расселись по своим местам; я опять стал проигрывать, а мисс Хэвишем, как и в тот раз не сводившая с нас внимательного взгляда, все предлагала мне любоваться Эстеллой и прикладывала драгоценности к ее шее и волосам, чтобы красота ее выступила еще ярче.

Эстелла, со своей стороны, тоже обращалась со мною по-прежнему; только теперь она даже не удостаивала меня разговором. Мы сыграли пять или шесть конов, а затем был назначен день, когда мне прийти опять, и меня свели во двор и покормили, все так же пренебрежительно, словно собаку. И, как в прошлый раз, мне было разрешено побродить одному по усадьбе.

Не так уж существенно, открыта или закрыта была в прошлый раз калитка в той ограде, на которую я вскарабкался, чтобы заглянуть в сад. Важно то, что тогда я не заметил никакой калитки, а теперь заметил. Она стояла отворенная, и, так как я знал, что Эстелла уже проводила гостей, – когда она вернулась наверх, ключи были у нее в руке, – я вошел в калитку и отправился бродить по саду. Там царило полное запустение, и в старых парниках, где некогда разводили огурцы и дыни, теперь видны были только чахлые всходы сношенных башмаков и шляп, да там и сям тянулась к свету ручка дырявой кастрюли.

Обойдя весь сад и обследовав теплицу, где не оказалось ничего, кроме упавшей наземь виноградной плети и нескольких разбитых бутылок, я очутился в том глухом уголке, на который давеча смотрел из окна. Вполне уверенный, что в доме никого нет, я заглянул в другое окошко и к величайшему своему изумлению увидел прямо перед собой бледного молодого джентльмена с красными веками и очень светлыми волосами.

Бледный молодой джентльмен сразу исчез и через мгновение появился со мною рядом. Очевидно, я застиг его за приготовлением уроков, потому что пальцы у него были все в чернилах.

– Ого, приятель! – сказал он.

Зная по опыту, что на такое малозначащее замечание, как «ого», удобнее всего отвечать тем же, я тоже сказал – ого! – из скромности опустив «приятеля».

– Кто тебе отпер калитку? – спросил он.

– Мисс Эстелла.

– Кто тебе позволил забраться в сад?

– Мисс Эстелла.

– Пошли драться, – сказал бледный молодой джентльмен.

Что мне оставалось, как не последовать за ним? Я и потом не раз задавал себе этот вопрос, но что другое мне оставалось? Он говорил так решительно, а я был так удивлен, что пошел за ним следом, как завороженный.

– Впрочем, погоди, – сказал он, едва мы прошли несколько шагов. – Надо же дать тебе повод для драки. Вот, получай! – И он вызывающе хлопнул в ладоши, грациозно отвел одну ногу назад, дернул меня за волосы, снова хлопнул в ладоши и, изловчившись, боднул меня головою в живот.

Этот последний, чисто бычий прием показался мне особенно неприятным на сытый желудок, не говоря уже о том, что я, естественно, расценил его как недопустимую вольность. Поэтому я ответил ударом и хотел ударить еще раз, но он сказал: «Ах, ты так?» – и стал скакать взад и вперед, изображая какой-то невиданный мною дотоле танец.

– Правила игры! – сказал он. И запрыгал на правой ноге. – Только по правилам! – И запрыгал на левой. – Надо выбрать место и проделать предварительные церемонии. – И он стал изгибаться вперед и назад, а я беспомощно взирал на все его выкрутасы.

Видя, какой он быстрый и ловкий, я в глубине души побаивался его; но и физическое, и нравственное ощущение говорило мне, что его светлой шевелюре было совсем не место у меня под ложечкой и что я вправе обидеться на такую навязчивость с его стороны. Вот почему я молча последовал за ним вглубь сада, где две стены образовали угол, скрытый от посторонних глаз кучей мусора. Справившись, доволен ли я выбором места, и услышав, что доволен, он попросил разрешения на минутку отлучиться и скоро вернулся с бутылкой воды и губкой, смоченной в уксусе. «Это для обоих», – сказал он, прислонив бутылку к стене. А потом стал стягивать с себя не только пиджак и жилет, но и рубашку, являя вид одновременно беззаботный, деловитый и кровожадный.

Хоть он и не выглядел особенно здоровым – лицо у него было в прыщах, на губе лихорадка, – но эти устрашающие приготовления сильно смутили меня. Примерно одних со мной лет, ростом он был много выше и умел необычайно эффектно вертеться вокруг собственной оси. Вообще же это был молодой джентльмен в сером костюме (частично сброшенном ввиду предстоящего боя), у которого локти, колени, кисти рук и ступни значительно обогнали в своем развитии остальные части тела.

Сердце у меня екнуло, когда он стал в позу и, видимо, с полным знанием дела стал оглядывать меня с головы до ног, выбирая самое подходящее место для удара. И я в жизни еще не был так удивлен, как в ту минуту, когда, размахнувшись, вдруг увидел, что он лежит на

спине и смотрит на меня, а по лицу его, странно изменившемуся в ракурсе, течет кровь из разбитого носа.

Но он мгновенно вскочил и, ловко обтеревшись губкой, снова стал наступать на меня. Второй раз я удивился почти так же сильно, когда увидел, что он опять лежит на спине и смотрит на меня подбитым глазом.

Его мужество вызвало во мне глубокое уважение. Силенок ему явно не хватало, он ни разу не ударил меня как следует и то и дело летел на землю; но тут же вскакивал, отпивал из бутылки и обтирался губкой, с увлечением и по всем правилам разыгрывая собственного секунданта, а затем лез на меня с таким задором, что я каждый раз думал – ну, теперь мне несдобровать. Ему жестоко досталось, потому что – должен с сожалением в том сознаться – я с каждым разом бил все сильнее; но он вскакивал снова, и снова, и снова, пока наконец, свалившись еще раз, не трахнулся затылком о стену. Однако даже и после этого поворота в наших делах он встал на ноги и несколько раз перевернулся на месте, не соображая, где я стою, но в конце концов рухнул на колени, нашел свою губку и, подбросив ее в воздух, не забыл объяснить, пыхтя и задыхаясь:

– Это значит, ты победил.

Он был такой храбрый и безобидный, что, хотя не я затеял эту драку, победа доставила мне не радость, а только угрюмое удовлетворение. Мне даже смутно вспоминается, что, одеваясь, я ощущал себя злобным волчонком или каким-то другим диким зверенышем. Как бы там ни было, я оделся, несколько раз за это время мрачно вытерев свою окровавленную физиономию, и спросил: «Тебе помочь?» А он ответил: «Нет, спасибо». После чего я сказал: «Всего хорошего!» А он ответил: «И тебе того же».

Когда я вышел во двор, Эстелла ждала меня с ключами наготове. Но она не спросила ни куда я ходил, ни почему заставил ее ждать; на щеках у нее играл румянец, как будто случилось что-то очень для нее приятное. И вместо того чтобы сразу пройти к калитке, она отступила обратно в прихожую и поманила меня к себе:

– Поди сюда! Если хочешь, можешь меня поцеловать.

Она подставила мне щеку, и я поцеловал ее. Вероятно, я готов был дорого заплатить за то, чтобы поцеловать ее в щеку. Но я почувствовал, что этот поцелуй все равно что монетка, брошенная грубому деревенскому мальчику, что он ничего не стоит.

Визитеры мисс Хэвишем, карты, драка – все это заняло так много времени, что, когда я подходил к дому, маяк на песчаной косе за болотами уже мерцал на фоне черного неба, а из кузницы Джо бежала через улицу яркая огненная дорожка.

ГЛАВА XII

Мысль о бледном молодом джентльмене стала не на шутку тревожить меня. Чем больше я думал о нашей драке, вспоминая, как он снова и снова падал на спину и как лицо его все больше вспухало и расцвечивалось, тем менее сомневался в том, что это мне даром не пройдет. Я чувствовал, что кровь бледного молодого джентльмена пала на мою голову и что мне не уйти от возмездия Закона. Не представляя себе сколько-нибудь отчетливо, какую именно кару я на себя навлек, я все же понимал, что не могут деревенские мальчишки безнаказанно бродить по округе, вламываться в господские владения и избивать преданную наукам английскую молодежь. Несколько дней я старался держаться поближе к дому и, прежде чем бежать с каким-нибудь поручением, с величайшей осторожностью и трепетом выглядывал за дверь кухни, чтобы невзначай не попасть в лапы констеблям из тюрьмы графства. Нос бледного молодого джентльмена запятнал мне штаны, и глубокой ночью я старался смыть с них это доказательство моей виновности. Следы зубов бледного молодого джентльмена остались у меня на

пальцах, и я всячески изощрял свое воображение, придумывая самые невероятные способы отвести от себя эту роковую улику, когда предстану перед судом.

В тот день, когда мне вновь полагалось посетить места, где я совершил свое злодеяние, страхи мои достигли предела. Что, если за калиткой притаились в засаде служители правосудия, нарочно присланные за мной из Лондона? Что, если мисс Хэвишем, предпочитая самолично отомстить за оскорбление, нанесенное ее дому, вдруг поднимется с места в этом своем саване, выхватит пистолет и застрелит меня? Что, если кто-нибудь подкупил мальчишек, чтобы они – целой шайкой – напали на меня в пивоварне и избили до смерти? В благородство бледного молодого джентльмена я, по-видимому, верил свято, потому что ни разу не заподозрил его соучастия в этих актах мщения; они неизменно рисовались мне как дело рук его безрассудных родственников, разъяренных плачевным видом его физиономии и негодующих по поводу порчи фамильного портрета.

Однако идти к мисс Хэвишем было нужно, и я пошел. И что же? Решительно ничего из драки не воспоследовало. Никто ни словом не упомянул о ней, никаких признаков бледного молодого джентльмена нигде не было. Калитка снова стояла отворенная, и я обследовал весь сад и даже заглянул в окна флигеля; но взгляд мой уперся в ставни, которыми окна оказались закрыты изнутри, и везде было пусто и тихо. Лишь в уголке, где состоялось наше побоище, обнаружил я кое-что, указывающее на существование молодого джентльмена: здесь виднелись засохшие следы его крови, и я схоронил их от людского глаза под землей и прелыми листьями.

На площадке лестницы между комнатой мисс Хэвишем и залой, где стоял накрытый стол, я заметил садовое кресло – легкое кресло на колесах, которое возят, толкая его сзади. Оно появилось здесь после моего предыдущего посещения, и я в тот же день приступил к новым обязанностям – катать в этом кресле мисс Хэвишем (когда она уставала ходить, опираясь на мое плечо) по ее комнате, а потом через площадку и вокруг залы. Снова и снова совершали мы этот путь, и бывало, что наши прогулки длились по три часа кряду. Я нечаянно упомянул об этих прогулках во множественном числе, потому что было тут же решено, что катать мисс Хэвишем я буду приходить через день в обед, а кроме того, я хочу теперь в коротких чертах рассказать о целом периоде моей жизни, который длился не меньше восьми, а то и десяти месяцев.

По мере того как мы привыкали друг к другу, мисс Хэвишем все больше разговаривала со мной, расспрашивала, чему я учился и чем думаю заниматься, когда вырасту. Я рассказал ей, что, наверно, пойду в подмастерья к Джо, и не раз говорил о том, как мало я знаю и как мне хочется учиться. Я надеялся получить от нее помощь в достижении этой заветной цели; но она не предлагала помочь мне, напротив – мое невежество было ей, казалось, больше по душе. Она и денег мне никогда не давала, только кормила каждый раз обедом и даже не упоминала о том, что собирается как-нибудь оплатить мои услуги.

Эстелла всегда была тут же и всегда впускала и выпускала меня, но никогда больше не говорила: «Можешь меня поцеловать». Порой она холодно терпела мое присутствие; порой снисходила ко мне; порой держалась со мной совсем просто; порой с жаром заявляла, что ненавидит меня. Мисс Хэвишем нередко спрашивала меня шепотом или когда мы оставались одни: «Не правда ли, Пип, она все хорошеет и хорошеет?» И когда я отвечал «да» (потому что так оно и было), это, казалось, доставляло ей какую-то хищную радость. А когда мы играли в карты, мисс Хэвишем смотрела на нас, ревниво наслаждаясь изменчивыми настроениями Эстеллы. И порой, когда настроения эти менялись так быстро и так противоречили одно другому, что я окончательно терялся, мисс Хэвишем обнимала ее с судорожной нежностью, и мне слышалось, будто она шепчет ей на ухо: «Разбивай их сердца, гордость моя и надежда, разбивай их сердца без жалости!»

Работая в кузнице, Джо любил напевать обрывки несложной песни с припевом «Старый Клем». Нельзя сказать, чтобы это было очень благочестивым восхвалением святого угодника и

покровителя, каким Старый Клем считался по отношению к кузнецам. Песня эта пелась в лад с ударами молота по наковальне и была не более как поэтическим предлогом для упоминания почтенного имени Старого Клема. Так, мы подбодряли друг друга: «Куй, ребята, не зевай – Старый Клем! Дружно разом поддавай – Старый Клем! Звонче звон, громче стук – Старый Клем! Не жалей крепких рук – Старый Клем! Раздувай огонь сильней – Старый Клем! Взвейтесь, искры, веселей – Старый Клем!» Однажды, вскоре после появления кресла на колесах, когда мисс Хэвишем вдруг приказала мне: «Ну же, спой что-нибудь, спой!» – и, как всегда, нетерпеливо зашевелила пальцами, я, не переставая катить кресло, неожиданно для самого себя затянул «Старого Клема». И наша песня так понравилась мисс Хэвишем, что она стала мне подтягивать тихим печальным голосом, словно во сне. После этого пение во время прогулок по комнатам вошло у нас в обычай, и нередко к нам присоединялась Эстелла; но даже и в этих случаях хор наш звучал так приглушенно, что малейшее дуновение ветра и то отдалось бы громче в старом мрачном доме. Что могло из меня получиться в такой обстановке? Как могла она не повлиять на весь мой душевный склад? Удивительно ли, что, когда я выходил на залитую солнцем улицу из желтой мглы этих комнат, в мыслях у меня, так же как перед глазами, стоял туман?

Возможно, что я рассказал бы Джо про бледного молодого джентльмена, если бы в свое время не наплел сгоряча столько небылиц, в чем сам же ему и сознался. А теперь я побаивался, как бы Джо не усмотрел в бледном молодом джентльмене подходящего седока для черной бархатной кареты, и поэтому ничего ему не рассказал. К тому же болезненное нежелание выносить мисс Хэвишем и Эстеллу на чей-либо суд, возникшее у меня с самого начала, с течением времени еще усилилось. Я не доверял до конца никому, кроме Бидди; зато бедной Бидди я рассказал все. Почему это выходило у меня само собой и почему Бидди слушала меня с таким интересом, этого я тогда не знал, хотя теперь, кажется, знаю.

Тем временем в кухне у нас происходили военные советы, от которых раздражение, постоянно владевшее мною, достигало почти невыносимого накала. Болван Памблчук частенько заезжал к нам вечерком, чтобы потолковать с миссис Джо о моем будущем; и я, честное слово, думаю (даже сейчас не испытывая при этом особых угрызений совести), что с удовольствием вытащил бы чеку из его тележки, если бы только сумел. Презренный этот человек отличался столь непроходимой тупостью, что не мог говорить о моем будущем, не имея меня перед глазами – в качестве своего рода наглядного пособия. Он вытаскивал меня (обычно за шиворот) из угла, где я спокойно сидел на своей скамеечке, и, поставив перед огнем, словно мне предстояло быть зажаренным или испеченным, начинал примерно так:

– Вот, сударыня, вот он! Вот мальчик, которого вы воспитали своими руками. Держи голову выше, мальчик, и будь вечно благодарен своим благодетелям. Так вот, сударыня, касательно этого мальчика… – После чего он грубо ерошил мне волосы (как уже упоминалось, я с младенческих лет ни за кем не признавал такого права), все время придерживая меня за рукав, – так что я своим дурацким видом мог соперничать разве что с ним самим.

А затем они с моей сестрой пускались в такие нелепые рассуждения относительно мисс Хэвишем и того, что она из меня и для меня сделает, что злые слезы жгли мне глаза и меня так и подмывало кинуться на Памблчука и нещадно исколотить его. Сестра моя во время этих разговоров обращалась ко мне так, словно каждый раз, выражаясь фигурально, вырывала мне по зубу, в то время как Памблчук, сам себя произведший в мои покровители, неодобрительно обозревал меня, как бы с грустью убеждаясь, что, решив устроить мое счастье, он ввязался в весьма невыгодное дело.

Джо в этих совещаниях не участвовал. Но во время их многое говорилось по его адресу, ибо миссис Джо заметила, что затея взять меня из кузницы отнюдь не встречает в нем сочувствия. По возрасту я уже вполне годился в подмастерья; и когда Джо сидел, бывало, перед огнем, просунув кочергу между прутьями решетки и задумчиво помешивая золу, сестра столь

явственно распознавала в этом невинном занятии выражение протеста, что налетала на него и, как следует встряхнув, выхватывала у него из рук кочергу и отставляла в сторону. Разговоры эти неизменно заканчивались самым неприятным образом. Ни с того ни с сего, без всякого к тому повода, сестра вдруг обрывала неоконченный зевок и, словно только что обнаружив мое присутствие, как коршун набрасывалась на меня со словами: «Ну! Хватит тебе тут торчать! Марш в постель! Довольно мы с тобой намучились на один вечер!» Как будто это я покорнейше просил их изводить меня до потери сознания.

Так шла наша жизнь в течение долгих месяцев, и казалось, что она будет идти так еще долго; но однажды во время нашей прогулки мисс Хэвишем вдруг остановилась и, не снимая руки с моего плеча, сказала неодобрительно:

– Ты сильно вырос, Пип.

Я счел нужным выразить с помощью задумчиво устремленного вдаль взора, что причиной тому – обстоятельства, над которыми я не властен.

Мисс Хэвишем ничего больше не сказала; но скоро снова остановилась и посмотрела на меня; потом это повторилось еще раз; а потом она словно помрачнела и насупилась. В следующий мой приход, когда моцион наш был закончен и я благополучно доставил ее к туалетному столу, она задержала меня нетерпеливым движением пальцев.

– Скажи мне еще раз, как зовут твоего кузнеца?

– Джо Гарджери, мэм.

– Это к нему ты должен был идти в подмастерья?

– Да, мисс Хэвишем.

– Пожалуй, сейчас для этого самое время. Как ты думаешь, захочет Гарджери прийти сюда с тобой и принести ваш договор?

Я высказал твердую уверенность в том, что он будет весьма польщен этим приглашением.

– Тогда пускай придет.

– В какое время лучше, мисс Хэвишем?

– Ах, перестань! Что мне до времени? Пусть приходит поскорее, и с тобой вместе.

Когда я вечером вернулся домой и передал Джо это поручение, сестра моя залютовала, как никогда раньше. Она спросила у меня и у Джо, не воображаем ли мы, что она – половик у нас под ногами, и как мы смеем так с ней обращаться, и для какого же общества, скажите на милость, она в таком случае годится? Когда поток вопросов, подобных этим, иссяк, она швырнула в Джо подсвечником, разразилась громкими воплями, вытащила из угла совок для мусора – что всегда было зловещим предзнаменованием, – надела свой толстый передник и начала яростно наводить чистоту. Не удовлетворившись уборкой всухую, она вооружилась ведром и шваброй и выжила нас из дома, так что мы долго стояли на заднем дворе, дрожа от холода. Только в десять часов вечера мы осмелились потихоньку вернуться домой, и тут она спросила Джо, почему он с самого начала не женился на чернокожей рабыне? Бедный Джо ничего не ответил, он только молча стоял, теребя свои бакены и удрученно поглядывая на меня, словно думал, что, может быть, это и в самом деле было бы не в пример умнее.

ГЛАВА XIII

Через день после этого я с тяжелым сердцем наблюдал, как Джо облачается в свой воскресный костюм, чтобы сопровождать меня к мисс Хэвишем. Однако, поскольку он считал парадный мундир совершенно необходимым для такого торжественного случая, не мне было говорить ему, что он выглядит куда авантажнее в рабочем платье; к тому же я знал, что он идет на эту муку исключительно ради меня, и только для меня он подтянул сзади воротник сорочки так высоко, что волосы у него на макушке поднялись в виде султана.

За завтраком сестра объявила о своем намерении отправиться в город вместе с нами, с тем чтобы мы оставили ее у дяди Памблчука и зашли за ней, «когда покончим со своими знатными леди», – план, от которого Джо, видимо, не ждал ничего хорошего. Кузницу заперли на весь день, и Джо (как у него было в обычае в тех чрезвычайно редких случаях, когда он не работал) мелом начертил на двери короткое слово УШОЛ, а сбоку пририсовал стрелу, указующую, в каком направлении он скрылся.

Мы пошли в город пешком. Сестра шагала впереди, в огромном касторовом капоре, и тащила с собой корзину наподобие большой государственной печати, сплетенной из соломы, а также – несмотря на то что стояла прекрасная погода – пару деревянных калош, запасную шаль и зонтик. Не могу точно сказать, для чего она несла все это добро – в виде ли добровольной епитимии или просто напоказ; но все же склоняюсь к мысли, что ей хотелось похвастаться своим достоянием, – так Клеопатре или другой залютовавшей властительнице могло прийти в голову выставить свои сокровища на всенародное обозрение во время какого-нибудь праздничного шествия.

Дойдя до владений Памблчука, сестра пулей влетела в дом и оставила нас одних. Так как было уже около полудня, мы с Джо сразу пошли к мисс Хэвишем. На звонок, как всегда, вышла Эстелла, и Джо, едва завидев ее, снял шляпу и, держа ее за поля, стал взвешивать в руках, словно имел особые основания бояться недовеса хотя бы на одну восьмую унции.

Эстелла, не взглянув ни на меня, ни на Джо, повела нас знакомой мне дорогой; я шел следом за нею, а Джо – за мной. Оглянувшись в длинном коридоре, я увидел, что он все так же тщательно взвешивает свою шляпу и поспевает за мной огромными шагами, но на цыпочках.

Эстелла сказала мне, чтобы мы оба вошли в комнату, и я, взяв Джо за обшлаг, подвел его к мисс Хэвишем. Она сидела за своим туалетным столом и тотчас повернула голову в нашу сторону.

– Значит, вы, – обратилась она к Джо, – муж сестры этого мальчика?

Я никак не думал, что мой милый Джо может быть так не похож на самого себя и так похож на какую-то диковинную птицу: он стоял безмолвный, хохолок его растрепался, а рот был открыт, словно он просил червяка.

– Вы, – повторила мисс Хэвишем, – муж сестры этого мальчика?

Это было очень досадно, но это было так: с начала и до конца последовавшего затем разговора Джо упорно обращался не к мисс Хэвишем, а ко мне.

– Дело-то оно, видишь, как обстояло, Пип, – начал он, причем в тоне его сочетались спокойная рассудительность, дружеская задушевность и тонкая вежливость обращения, – я, значит, так-таки женился на твоей сестре, ну а до той поры был, значит, это самое, с позволения сказать – холост.

– Так, – продолжала мисс Хэвишем. – И вы вырастили мальчика с тем, чтобы взять его себе в подмастерья; правильно, мистер Гарджери?

– Ты сам знаешь, Пип, – отвечал Джо, – мы же с тобой всегда были друзьями и сколько раз говорили, что вот, мол, как оно будет расчудесно. Но я еще то скажу, Пип, что, ежели бы ты имел что против, – ну, к примеру, что работа грязная и сажи много, – так неволить тебя никто не будет.

– Мальчик когда-нибудь говорил о своем нежелании работать? – спросила мисс Хэвишем. – Он любит ваше ремесло?

– Кому же и знать, как не тебе, Пип, – отвечал Джо тоном еще более рассудительным, задушевным и вежливым, – что ты только о том и мечтаешь целый век. (Еще до того, как были произнесены следующие слова, я понял, что Джо вдруг усмотрел возможность почти дословно повторить свою эпитафию.) Ведь ты, Пип, ученый и хороший человек, и ты о том мечтаешь целый век.

Тщетно я пытался довести до его сознания, что ему следует обращаться к мисс Хэвишем. Чем больше я дергал его за рукав и хмурил брови, чтобы внушить ему это, тем вежливее, рассудительнее и задушевнее он становился со мной.

– Вы принесли его бумаги? – спросила мисс Хэвишем.

– Ну как же, Пип, – отвечал Джо, словно считая ее вопрос излишним, – ты ведь сам видел, как я клал их в шляпу, – так где же им и быть, как не здесь? – С этими словами он достал бумаги и протянул их не мисс Хэвишем, а мне. Боюсь, что в эту минуту я стыдился моего доброго Джо, – даже знаю наверно, что я его стыдился, – ведь за стулом мисс Хэвишем стояла Эстелла, и глаза ее озорно смеялись. Я взял бумаги из рук Джо и передал их мисс Хэвишем.

– Мистер Гарджери, – сказала она, просматривая мои документы, – вы не рассчитывали получить плату за обучение мальчика?

– Джо! – воскликнул я укоризненно, ибо он молчал. – Что же ты не отвечаешь?

– Пип! – остановил он меня с огорчением и обидой. – Вот уж о чем бы тебе не след меня спрашивать. Ты сам посуди, могу я что-нибудь тебе ответить, кроме как «нет и нет»? Знаешь ведь, что нет, Пип, так чего же мне еще говорить?

Мисс Хэвишем взглянула на Джо так, словно понимала его куда лучше, чем я мог ожидать при его нелепом поведении, и взяла с туалетного стола какой-то мешочек.

– Пип заработал здесь плату за свое ученье, – сказала она. – Вот, возьмите, в этом мешочке двадцать пять гиней. Отдай их своему хозяину, Пип.

Но Джо, словно лишившись рассудка под воздействием этой удивительной комнаты и удивительной ее обитательницы, даже теперь продолжал упорно обращаться ко мне.

– Это очень щедро с твоей стороны, Пип, – сказал Джо. – И великое тебе на том спасибо, хотя, видит Бог, ничего такого я не ждал и в мыслях даже никогда не имел. А теперь, дружок, – продолжал он, и меня бросило в жар и в холод, как будто фамильярное это обращение относилось к мисс Хэвишем, – а теперь, дружок, за работу, и будем исполнять свой долг друг перед другом, и еще перед теми, которые… твой щедрый подарок… передали… для спокойствия… некоторых… которые никогда… – тут Джо явно почувствовал, что завяз обеими ногами в болоте, однако сумел выкарабкаться и победоносно закончил: – А меня сохрани Боже! – Фраза эта показалась ему такой гладкой и убедительной, что он повторил ее еще раз.

– Прощай, Пип! – сказала мисс Хэвишем. – Эстелла, проводи их.

– Мне больше не приходить, мисс Хэвишем? – спросил я.

– Нет. Теперь твой хозяин – Гарджери. Гарджери, на одно слово!

Джо задержался, и я, уже выходя за дверь, слышал, как она сказала ему отчетливо и веско:

– Мальчик вел себя здесь очень хорошо, и это ему награда. Я уверена, что вы, как честный человек, ни на что большее не рассчитываете.

Как Джо выбрался из ее комнаты, это навсегда осталось для меня загадкой; но я твердо помню, что, выйдя в конце концов на лестницу, он, вместо того чтобы спускаться, стал упорно стремиться вверх и не внимал никаким уговорам, так что мне пришлось за руку свести его вниз. Еще через минуту калитка захлопнулась, ключ щелкнул в замке, и Эстелла исчезла. Когда мы остались одни на светлой улице, Джо попятился к стене и, прислонившись, чтобы не упасть, сказал: «Поди ж ты!» Он стоял в этом положении очень долго, снова и снова повторяя свое «поди ж ты», и я уже начал опасаться, что он так и не придет в себя. Наконец он выразился уже более пространно: «Поди ж ты, Пип, чудеса, да и только!» – после чего постепенно разговорился и сдвинулся с места.

Я имею основания предполагать, что под влиянием пережитой встряски мозги у Джо прояснились и что по дороге к дому Памблчука он успел разработать некий хитроумный план. Догадку мою подтверждает то, что произошло в гостиной у мистера Памблчука, где моя сестра в ожидании нашего возвращения беседовала с ненавистным лабазником.

– Ага! – вскричала сестра, относя это приветствие к нам обоим. – Откуда явились, что видели-слышали? Как это еще вы нас удостоили своим обществом, я уж думала, вы теперь и знаться с нами, бедными, не захотите.

– Мисс Хэвишем…. – сказал Джо, пристально глядя на меня, словно силясь что-то вспомнить, – велела – да не просто велела, а несколько раз напомнила, чтобы, значит, передать от нее… как это она говорила-то, Пип, поклон или почтение?

– Поклон, – сказал я.

– Вот и мне так помнилось, – подхватил Джо, – чтобы передать, значит, от нее поклон миссис Дж. Гарджери…

– А что мне с него! – фыркнула сестра, впрочем весьма польщенная.

– И очень сожалеет, – продолжал Джо, все так же пристально глядя на меня, – что как она, значит, слаба здоровьем, то не может… правильно я говорю, Пип?

– Доставить себе удовольствие, – подсказал я.

– Приглашать в гости дам, – закончил Джо. И перевел дух.

– Ишь ты! – воскликнула сестра и взглянула на мистера Памблчука уже гораздо более мягко. – Не отсох бы у нее язык сказать об этом пораньше, ну, да лучше поздно, чем никогда. А что она дала этому сорванцу?

– Ему, – сказал Джо, – ничего не дала.

Миссис Джо уже готова была вспылить, но Джо предупредил ее.

– А что дала, – сказал Джо, – то дала его друзьям. «А друзьям, – так она объяснила, – это значит, в руки его сестре миссис Дж. Гарджери». Так и сказала: «Миссис Дж. Гарджери». Может, она и не знала, как это понимать, – добавил он задумчиво, – то ли Джо, то ли Джейн.

Сестра поглядела на Памблчука, а тот потер подлокотники своего деревянного кресла и закивал головой, поглядывая то на нее, то на огонь в камине с таким видом, будто давным-давно все это знал.

– Сколько же ты получил? – спросила сестра и засмеялась – так-таки засмеялась!

– Как посмотрит почтеннейшая публика на десять фунтов? – осведомился Джо.

– Неплохо, – сухо ответила сестра. – Не ахти сколько, но неплохо.

– Ну так вот, больше, – сказал Джо.

Бессовестный пройдоха Памблчук опять закивал и поддакнул, потирая ручки своего кресла:

– Больше, сударыня.

– Вы что же, хотите сказать… – начала сестра.

– Да, сударыня, хочу, – сказал Памблчук, – но погодите минутку. Продолжай, Джозеф. Ты молодец. Продолжай!

– Как посмотрит почтеннейшая публика, – снова заговорил Джо, – на двадцать фунтов?

– Ну, это прямо-таки щедро, – отвечала сестра.

– Так вот, не двадцать фунтов, – сказал Джо, – а больше.

Гнусный лицемер Памблчук опять кивнул и подтвердил, снисходительно посмеиваясь:

– Больше, сударыня. Ай да Джозеф! Говори, говори, голубчик!

– Чтобы зря не тянуть да не томить, – сказал Джо и сияя подал мешочек сестре, – вот. Тут двадцать пять фунтов.

– Двадцать пять фунтов, сударыня, – как эхо отозвался подлый мошенник Памблчук и встал, чтобы пожать ей руку. – Кто же их и заслужил, как не вы (вспомните, я всегда это говорил), а посему желаю вам всяческого благополучия!

Остановись он на этом, и то его злодейство вопияло бы к небу; но он еще усугубил свою вину тем, что тут же взял меня под надзор, и его покровительственно-властный вид оставил далеко позади все другие его преступления.

– Вот что, Джозеф и жена Джозефа, – сказал он, ухватив меня за руку повыше локтя. – Я если что начал, то люблю доводить до конца, такой уж я человек. Мальчика нужно записать в ученье незамедлительно. Я так считаю. Незамедлительно.

– Ах, дядя Памблчук, – сказала сестра (зажав в руке мешочек с деньгами), – мы вам по гроб жизни обязаны.

– Полноте, сударыня, – возразил окаянный торговец. – Кому же не приятно доставлять другим удовольствие. А что до мальчика – надо его записать. Ведь я всегда говорил, что позабочусь об этом.

До судебного присутствия было рукой подать, и мы тут же направились в ратушу, чтобы по всем правилам определить меня в подмастерья к Джо. Я сказал «мы направились», на самом же деле Памблчук силком подгонял меня вперед, точь-в-точь как если бы я только что залез к кому-то в карман или поджег стог сена. В суде у всех и создалось впечатление, будто я пойман с поличным; когда Памблчук, толкая меня в спину, протискивался сквозь толпу, одни спрашивали: «Что он натворил?», другие говорили: «Молод-то молод, да сразу видно – отпетый». А один тихий, благожелательный на вид старичок даже сунул мне тоненькую книжку, на обложке которой красовался явно злонамеренный молодой человек, весь обвешанный кандалами, наподобие продавца сосисок, и стояло заглавие: «Чтение заключенного».

В ратуше я увидел много интересного: здесь были ложи с высоким барьером – выше, чем в церкви, – и из них выглядывали чьи-то лица; всемогущие судьи (один – в пудреном парике) сидели в креслах, развалившись и скрестив руки, или нюхали табак, или читали газеты, или писали, или подремывали; а на стенах висели блестящие черные портреты, которые моему непросвещенному глазу показались сделанными из карамели и липкого пластыря. Здесь-то, в одном из углов большой залы, мой договор и был подписан, заверен и скреплен печатью, причем все это время Памблчук крепко держал меня за локоть, словно мы зашли сюда по пути на виселицу, чтобы сперва покончить со всеми мелкими формальностями.

Выйдя затем на улицу и кое-как избавившись от мальчишек, которые с восторгом ожидали, что я буду подвергнут публичному наказанию здесь же, на площади, и очень огорчились, убедившись, что я окружен друзьями, – мы возвратились к Памблчуку. И тут сестра, вспомнив про двадцать пять гиней, пришла в такой азарт, что заявила – вынь да положь ей по этому случаю обед в «Синем Кабане», и пусть мистер Памблчук съездит на своей тележке за Хаблами и мистером Уопслом.

На том и порешили, и очень печально прошел для меня остаток этого дня. Ибо все они почему-то считали, что я только порчу им праздник. Мало того, все они от нечего делать спрашивали меня, почему я не веселюсь. И что мне оставалось, как не отвечать, что я очень веселюсь, хотя какое уж там было веселье!

Да, они были взрослые и пользовались тем, что могли поступать, как им угодно. Отъявленный плут Памблчук даже уселся во главе стола, представляясь, будто это он всех облагодетельствовал; а пустившись в разглагольствования по поводу того, что я отдан в ученье, он злорадно поздравил всю компанию с тем обстоятельством, что отныне я подлежу аресту, если буду играть в карты, пьянствовать, поздно возвращаться домой, водить дружбу с кем не следует или же предаваться другим порокам, – в договоре все это предусматривалось как нечто неизбежное, – и, для вящей наглядности, велел мне стать рядом с ним на стул.

Что еще запомнилось мне из этого торжества? Что они не давали мне уснуть, а, чуть только у меня начинали слипаться глаза, будили и приказывали веселиться. Что поздно вечером мистер Уопсл декламировал оду Коллинза и бросал он оземь меч кровавый свой с таким грохотом, что трактирный слуга прибежал сказать: «Приезжие из нижней залы велели кланяться и напомнить, что здесь, мол, не „Привал циркачей“». Что по дороге домой все были в наилучшем настроении, все распевали «Моя краса», и мистер Уопсл уверял раскатистым басом (в ответ на назойливое приставанье запевалы, которому в этой песне обязательно нужно

выведать у каждого всю его подноготную), что да, это у него кудри вьются волной и что если говорить начистоту – то именно он и есть пилигрим молодой.

И еще я помню, как дома, в своей спаленке, я чувствовал себя глубоко несчастным и был убежден, что никогда не полюблю ремесло кузнеца. Когда-то оно мне нравилось, но теперь – другое дело.

ГЛАВА XIV

Бесконечно тяжело стыдиться родного дома. Возможно, что это – заслуженное наказание за черную неблагодарность, лежащую в основе такого чувства; но что это бесконечно тяжело – я знаю по опыту.

Родной дом никогда не был для меня особенно приятным местом – этому мешал крутой нрав моей сестры. Но дом был освящен присутствием Джо и до сих пор не внушал мне сомнений. Я верил, что наша гостиная не хуже самого изысканного салона; я верил, что парадная дверь – таинственные врата в храм Господень и что ритуал их открытия сопровождается жертвоприношением из жареных кур; я верил, что наша кухня – помещение если и не роскошное, то вполне порядочное; я верил, что кузница – сверкающий путь к самостоятельной жизни, к жизни взрослого мужчины. Одного года было достаточно, чтобы все это изменить. Теперь наше жилище казалось мне грубым и обыкновенным, и я бы ни за что на свете не хотел, чтобы его увидели мисс Хэвишем и Эстелла.

В какой мере я сам был в ответе за эти недостойные мысли, а в какой мере мисс Хэвишем или моя сестра – это сейчас не важно ни для меня, ни для кого другого. Перемена во мне совершилась. Хорошо это было или плохо, простительно или не простительно, но это было так.

Прежде мне казалось, что день, когда я, засучив рукава, пойду наконец в кузницу в качестве подмастерья Джо, преисполнит меня гордости и счастья. Теперь, когда моя мечта сбылась, я чувствовал только, что весь пропитан мелкой угольной пылью и что сердце мне давит груз воспоминаний, неизмеримо более тяжелый, чем наковальня. И впоследствии у меня (как, вероятно, почти у всех) бывало ощущение, словно плотный занавес скрыл все, что есть в жизни интересного и прекрасного, оставив мне только тупую, нудную боль. Но никогда этот занавес не был таким густым и тяжелым, как в те дни, когда я только что ступил на свой жизненный путь и он протянулся передо мной, прямой и безотрадный.

Я помню, что в последующие месяцы не раз стоял на кладбище воскресными вечерами, когда на землю спускалась темнота, и, глядя на овеянные ветром болота, расстилавшиеся передо мной, улавливал в них какое-то сходство с моей жизнью: и тут и там все ровно и скучно, а где-то вдали – неведомая дорога, и туман, и море. Таким подавленным я чувствовал себя с самого первого дня моего ученичества; но я с радостью вспоминаю, что Джо за все это время не услышал от меня ни слова жалобы. Пожалуй, только это я и вспоминаю с радостью, когда думаю о себе в те годы.

Ибо хотя то, что я хочу сейчас добавить, непосредственно касается меня, но заслуга тут не моя, а одного только Джо. Не моя преданность, а преданность Джо удержала меня от попытки убежать из дому и пойти в солдаты или наняться на корабль. Не потому, что мне было присуще трудолюбие и чувство долга, а потому, что оно было присуще Джо, я работал пусть неохотно, но достаточно усердно. Невозможно сказать, как далеко распространяется влияние честного, душевного, преданного своему долгу человека; но вполне возможно почувствовать, как оно и тебя согревает на своем пути, и я твердо знаю: все, что было в моем ученичестве хорошего, вложил в него неунывающий работяга Джо, а не его беспокойный, вечно недовольный фантазер-подмастерье.

Кто скажет, чего мне недоставало? Что до меня, то я и сам этого не знал! Я содрогался при мысли, что как-нибудь в недобрый час, подняв голову от грубой и грязной работы, я вдруг

увижу, что из-за деревянной створки окна в кузницу заглядывает Эстелла. Меня преследовал страх, что рано или поздно она застанет меня в таком виде – с черным лицом и черными руками – и будет злобно радоваться и презирать меня. Сколько раз, когда темными вечерами я стоял у мехов и мы пели «Старого Клема» и при воспоминании о том, как мы певали у мисс Хэвишем, мне мерещилось в огне лицо Эстеллы, ее развевающиеся кудри и надменный взгляд, – сколько раз я, бывало, оглядывался на черные прорезы отворенных окон, и мне чудилось – вот только что, на моих глазах, исчезло за косяком ее лицо, и верилось, что она наконец пришла. А после того, когда мы, наработавшись, являлись на кухню ужинать, и кухня, и ужин казались мне особенно убогими, и в глубине своей недостойной души я больше, чем когда-либо, стыдился родного дома.

ГЛАВА XV

Поскольку я уже с трудом умещался в комнате двоюродной бабушки мистера Уопсла, обучение мое у этой нелепой старушки прекратилось. Однако это произошло не раньше, чем Бидди передала мне все свои познания – от тетрадки-прейскуранта до шуточной песенки, которую она как-то купила за полпенса. Правда, более или менее понятными были в этом литературном произведении только первые строчки:

Я в Лондон поехал на два дня,
Ту-роль лу-роль,
Ту-роль лу-роль,
До нитки там обобрали меня,
Ту-роль лу-роль,
Ту-роль лу-роль… —

но все же я, в своем стремлении к свету науки, добросовестно выучил эти стихи наизусть и, сколько помню, не сомневался в их достоинствах, хотя мне и казалось (да и до сих пор кажется), что всяких «ту-роль лу-роль» там было многовато по сравнению с высокой поэзией. Томимый жаждой знаний, я обратился к мистеру Уопслу с просьбой уделить мне несколько капель этого нектара, на что он милостиво согласился. Оказалось, однако, что я нужен ему только как статист, – чтобы было кому грозить и противоречить, кого обнимать, душить, обливать слезами, колоть кинжалом и швырять оземь; поэтому я вскоре отказался от такого курса обучения, но мистер Уопсл в своем поэтическом раже успел-таки нанести мне довольно серьезные увечья.

Всем, что я узнавал нового, я старался делиться с Джо. Эти слова звучат так благородно, что я вынужден их разъяснить. Я хотел немножко обтесать и просветить Джо, чтобы он стал более достойным моего общества и меньше заслуживал осуждения Эстеллы.

Классной нам служила старая батарея на болотах, а учебными пособиями – аспидная доска и грифель, да еще неизменная трубка Джо. Не было случая, чтобы Джо хоть что-нибудь запомнил от воскресенья до воскресенья или приобрел с моей помощью хоть какие-нибудь крохи знаний. Но трубку свою он курил на батарее с еще более сосредоточенным видом, чем где бы то ни было, – прямо-таки с ученым видом, словно чувствовал, что делает огромные успехи. Милый Джо! От души надеюсь, что он действительно это чувствовал.

Здесь было хорошо, спокойно; за земляным валом скользили белые паруса, и во время отлива мне представлялось порою, что это затонувшие корабли все еще плывут куда-то по дну реки. Глядя, как суда уходят к морю, развернув свои белые крылья, я всегда почему-то думал о мисс Хэвишем и Эстелле; то же бывало, когда луч солнца косо падал на далекое облако, или

на парус, или на зеленый склон холма. Казалось, мисс Хэвишем, и Эстелла, и странный дом, в котором они жили своей странной жизнью, присутствуют во всем, что есть в мире прекрасного.

Как-то раз, когда Джо, с наслаждением попыхивая трубкой, так расхвастался своей «тупостью», что пришлось на сегодня оставить его в покое, я долго лежал на валу, уперев подбородок в ладони, улавливая смутные очертания мисс Хэвишем и Эстеллы повсюду вокруг, даже в поле и в небе, а потом отважился наконец сказать вслух то, что уже давно не выходило у меня из головы.

– Джо, – сказал я, – как ты думаешь, не следует ли мне навестить мисс Хэвишем?

– Да как тебе сказать, – задумчиво протянул Джо. – А зачем?

– Зачем? Ну, зачем вообще ходят в гости?

– Бывает, Пип, что и неизвестно, зачем ходят. Но я-то говорю про мисс Хэвишем. Как бы она не подумала, что тебе от нее чего-нибудь нужно, что ты вроде как чего-то ждешь от нее.

– А разве я не могу сказать, что ничего такого нет?

– Можешь, дружок, – сказал Джо. – И она может тебе поверить. Ну, а может и не поверить.

Джо, так же как и я, почувствовал, что попал в точку, и стал усердно раскуривать трубку, чтобы не ослабить свой довод повторением.

– Видишь ли, Пип, – продолжал он, когда эта опасность миновала, – мисс Хэвишем поступила с тобой честно-благородно. А когда она поступила с тобой честно-благородно, то подозвала меня к себе и сказала, что это, мол, все.

– Да, Джо. Я слышал.

– *Все,* – повторил Джо необычайно веско.

– Да, Джо. Я же тебе говорю, я слышал.

– Это я к тому, Пип, что она, скорее всего, так это понимала: на том, мол, и кончим! Хватит! Мне на север, а вам на юг! Разойдись!

Я и сам об этом думал, и открытие, что Джо думает так же, отнюдь не обрадовало меня – оно лишь подтвердило мои догадки.

– Но послушай, Джо.

– Слушаю, дружок.

– Ведь я уже почти год как стал подмастерьем, а ни разу еще не поблагодарил мисс Хэвишем, не справился о ее здоровье, не показал, что помню ее.

– Это ты верно говоришь, Пип; но только что ж, ежели, скажем, снести ей полный набор подков, четыре штуки, так не знаю, на что они ей, четыре-то штуки, когда там копыт днем с огнем не сыщешь.

– Я не в этом смысле говорю, Джо. Я и не думал ей ничего дарить.

Но Джо, раз напав на мысль о подарке, не мог так легко с ней расстаться.

– Опять же, – сказал он, – ежели бы, значит, помочь тебе выковать ей новую цепь на парадную дверь – либо гросс шурупов с гайками – либо какую безделку для хозяйства, ну, там, вилку каминную, булочки доставать, или рашпер, в случае ей рыбки поджарить захочется…

– Я не думал ей ничего дарить, Джо!

– Так вот, – сказал Джо, продолжая развивать свою мысль, словно я горячо за нее ухватился. – На твоем месте, Пип, я бы и не стал ничего дарить. Право, не стал бы. Ну, сам посуди, к чему ей дверная цепь, когда у нее дверь и так всегда на цепи? На шурупы еще неизвестно, как она посмотрит. Каминная вилка – тут нужна медь, с этим тебе не справиться. Ну, а если взять рашпер, так это и самому отличному мастеру не отличиться, потому что рашпер – он и есть рашпер, – говорил Джо терпеливо и внушительно, словно решив во что бы то ни стало рассеять мое прочно укоренившееся заблуждение, – и задумай ты сделать что угодно, а хочешь не хочешь, все равно у тебя рашпер получится, и уж тут хоть тресни, ничего не поделаешь…

– Джо, голубчик! – вскричал я, в отчаянии хватая его за рукав. – Ну, довольно! У меня и в мыслях не было что-нибудь дарить мисс Хэвишем.

– Вот-вот, – подтвердил Джо, словно только этого и добивался. – И поверь моему слову, Пип, ты, дружок, совершенно прав.

– Да, Джо. Только я вот что хотел сказать: ведь работы у нас сейчас не очень много, так, может, ты завтра с полдня отпустишь меня, и я бы сбегал в город навестить мисс Эст… Хэвишем.

– Только звать-то ее не мисс Эстэвишем, Пип, – серьезно заметил Джо, – разве что недавно переименовали.

– Знаю, знаю, Джо. Это я просто обмолвился. Так как же ты считаешь, Джо?

Выяснилось, что Джо считает, что, раз я считаю это желательным, он тоже так считает. Однако он особо оговорил, что, если меня примут не очень сердечно и не будут настаивать на повторении моего визита, хотя бы и предпринятого без всякой задней мысли, но единственно из благодарности, – пусть тогда моя первая попытка поддержать знакомство будет и последней. Это условие я обещал свято соблюсти.

Я еще не упоминал о том, что у Джо был наемный работник, парень по фамилии Орлик. Он утверждал, что при крещении ему дали имя Долдж, – явная фантазия; судя по его упрямому, скверному характеру, я полагаю, что и сам он отнюдь не обольщался на этот счет, а скорее выдумал себе такое имя, чтобы насмеяться над деревенскими легковерами и невеждами. Это был смуглый, широкоплечий, нескладный детина, человек огромной силы, неуклюжий и разболтанный в движениях и походке. Даже на работу он являлся с таким видом, будто случайно забрел в кузницу. Когда же он уходил обедать к «Трем Веселым Матросам» или вечером отправлялся восвояси, он убредал прочь, что твой Каин или Вечный жид, словно понятия не имел, куда идет, и не намерен был возвращаться обратно. Жил он на болоте, у сторожа при шлюзе, и в будние дни не спеша прибредал по утрам из этого своего логова, – руки в карманах, узелок с завтраком, подвешенный на шее, болтается за спиной. А по воскресеньям он с утра до вечера валялся на плотине у шлюза или стоял, прислонившись к какому-нибудь сараю или стогу сена. По улице он брел, глядя себе под ноги; когда же его окликали или какая-нибудь другая причина заставляла его поднять голову, он глядел на мир таким недовольным и озадаченным взглядом, словно единственное, над чем он когда-либо задумывался, было то, как странно и обидно, что он никогда ни о чем не думает.

Угрюмый этот парень шибко меня недолюбливал. Когда я был еще совсем маленьким и всего боялся, он уверял меня, что в темном углу кузницы живет дьявол, с которым он на короткой ноге, а также, что каждые семь лет огонь в горне полагается разжигать живым мальчиком, так что я свободно могу считать себя растопкой. Когда я поступил к Джо в подмастерья, Орлик, возможно, утвердился в давнишнем своем подозрении, что со временем я займу его место; как бы то ни было, он еще больше невзлюбил меня. Правда, неприязнь его никогда не выражалась открыто в каких-нибудь словах или поступках; но я замечал, что он всегда норовит бить молотом так, чтобы искры летели в мою сторону, а стоило мне запеть «Старого Клема», как он начинал подтягивать, и обязательно не в лад.

Когда я на следующий день напомнил Джо про его обещание дать мне полдня свободных, Долдж Орлик это слышал. В ту минуту он ничего не сказал, потому что был занят: они с Джо только что начали обрабатывать полосу раскаленного железа, а я стоял у мехов; но немного погодя он оперся на свой молот и заговорил:

– Это что же, хозяин, выходит – вы только одному из нас поблажку даете? Раз отпускаете Пипа, надо и старого Орлика отпустить.

Ему было лет двадцать пять, не больше, но он всегда говорил о себе как о дряхлом старике.

– А на что тебе полдня свободных? – спросил Джо.

– Мне на что? А ему на что? Чем я хуже его?

– Пип сегодня идет в город, – сказал Джо.

– Ну, значит, и старый Орлик идет в город, – заявил тот, ничуть не смущаясь. – Что, он один только может идти в город? Чай не он один может идти в город?

– Не кипятись, – сказал Джо.

– Захочу и буду, – проворчал Орлик. – Скажи, пожалуйста, в город идет. Ну, так как же, хозяин? Не хорошо любимчикам-то поблажки давать. Это понимать надо.

Поскольку хозяин отказался обсуждать этот вопрос, пока у работника не улучшится настроение, Орлик ринулся к горну, выхватил докрасна раскаленный железный брус, нацелился, точно хотел проткнуть меня им насквозь, покрутил его над моей головой, положил на наковальню, расплющил в блин (словно это я, подумалось мне, а искры – брызги моей крови) и, наконец доработавшись до того, что сам раскалился докрасна, а железо остыло, снова оперся на свой молот и сказал:

– Так как же, хозяин?

– Успокоился? – спросил Джо.

– Успокоился, – буркнул старый Орлик.

– Ладно, – решил Джо. – Работник ты, можно сказать, усердный, не хуже других, ну, а сегодня уж будем все с полдня отдыхать.

Моя сестра, все это время стоявшая под окном, – она была мастерица шпионить и подслушивать, – немедленно просунула голову в кузницу.

– Ну, не дурак ли! – налетела она на Джо. – На целых полдня отпускаешь такого бездельника. Видно, лишних денег много завелось – ни за что жалованье платишь. Эх, мне бы быть над ним хозяином.

– Вам только дай, вы бы над кем угодно стали хозяином, – отозвался Орлик с недоброй усмешкой.

(– Не трогай ее, – пригрозил Джо.)

– Уж я бы справилась со всеми олухами и мерзавцами, – крикнула сестра, распаляя в себе ярость. – А уж если бы справилась с олухами, значит, и с твоим хозяином бы справилась, потому он всем олухам олух. А если бы справилась с мерзавцами, значит, справилась бы и с тобой, потому второго такого урода и мерзавца ни у нас, ни за морем не сыщешь. Вот!

– Ох и ведьма же вы, тетка Гарджери, – проворчал работник. – Не диво, что в мерзавцах толк понимаете.

(– Не трогай ее, говорю, – пригрозил Джо.)

– Ты что сказал? – взвизгнула сестра. – Нет, ты что сказал? Что он мне сказал, Пип, а? Как этот Орлик обозвал меня при живом-то муже? Ах! Ах! Ах! – С каждым разом она взвизгивала все громче; и здесь я должен заметить, что поведение моей сестры, как, впрочем, и всех сварливых женщин, каких мне приходилось встречать, нельзя оправдывать неукротимой страстностью натуры: я положительно утверждаю, что сестра не впадала в неистовство, а сознательно и ценою немалых усилий доводила себя до этого состояния, проходя при этом через определенные стадии. – Каким он словом меня обозвал при гнусном человеке, который дал обет беречь и лелеять свою жену? Ох! Держите меня! Ох!

– У-у-у, – сквозь зубы проворчал работник. – Я бы тебя подержал, будь ты моей женой. Подержал бы головой под краном, живо бы вся дурь соскочила.

(– Я кому говорю, не трогай ее, – пригрозил Джо.)

– Ох! Вы только послушайте, люди добрые! – завопила сестра, всплескивая руками, – это была у нее следующая стадия. – Вы только послушайте, как он меня честит, этот Орлик! Да в моем же доме! Да замужнюю женщину! Да при живом-то муже! Ох! Ох!

И тут, испустив еще несколько воплей и еще несколько раз всплеснув руками, она стала бить себя в грудь и хлопать по коленям, сорвала с головы чепец и начала рвать на себе волосы, а это уже была у нее последняя стадия на пути к полному исступлению. Преуспев в своем

намерении и окончательно уподобившись фурии, она метнулась к двери, которую я, однако, по счастью, успел запереть.

Что мог сделать бедняга Джо, видя, что его замечания в скобках не оказывают никакого действия? Подступив к своему работнику, Джо пожелал узнать, как тот смеет становиться между ним и миссис Джо, после чего предложил немедленно «выходить» и показать, что он не трус. Старый Орлик почувствовал, что ничего другого ему не остается, и занял оборонительную позицию; и, не потрудившись даже снять грязные, прожженные фартуки, они схватились, как два великана. Но если и был во всей округе человек, способный долго выдержать натиск Джо, я этого человека не видел. Очень скоро Орлик, словно у него было не больше сил, чем у бледного молодого джентльмена, уже валялся в куче золы, не проявляя ни малейшего желания подняться. Тогда Джо отпер дверь, подхватил на руки мою сестру, замертво упавшую под окном (думаю, впрочем, что сперва она досмотрела, чем кончится драка), отнес ее в дом и уложил в постель, умоляя прийти в себя, в то время как она, отчаянно отбиваясь, все норовила вцепиться ему в волосы. Затем наступила та особенная тишина, какая обычно сменяет всякую бурю; и тогда я пошел к себе наверх переодеваться, испытывая смутное чувство, всегда связанное у меня с такими минутами затишья, – чувство, будто сегодня воскресенье и кто-то умер.

Когда я опять сошел вниз, Джо и Орлик подметали в кузнице, и ничто не напоминало о недавнем побоище, только у Орлика была рассечена ноздря, отчего лицо его не стало ни выразительнее, ни красивее. Из погреба «Веселых Матросов» прибыл кувшин пива, и хозяин с работником по очереди прикладывались к нему, как добрые друзья. Джо, которого всеобщее успокоение настроило на философский лад, вышел проводить меня на дорогу и напутствовал душеспасительным замечанием:

– Полютует и перестанет, Пип, полютует и перестанет – так-то и все в жизни!

Едва ли стоит рассказывать о том, какие нелепые чувства волновали меня, когда я вновь приближался к дому мисс Хэвишем (ибо чувства, вполне серьезные у взрослого мужчины, в мальчике кажутся нам смешными). И о том, как долго я ходил взад и вперед мимо калитки, не решаясь позвонить. И как раздумывал, не лучше ли уйти, не позвонив; и как, несомненно, ушел бы, располагай я своим временем, чтобы прийти в другой раз.

На звонок вышла мисс Сара Покет. Эстеллы не было.

– Как, вы опять здесь? – сказала мисс Покет. – Что вам нужно?

Когда я ответил, что пришел только справиться о здоровье мисс Хэвишем, Сара, видимо, засомневалась, не предложить ли мне убираться подобру-поздорову; однако, не рискнув взять это на себя, она впустила меня во двор, исчезла в дверях и скоро вышла с лаконическим разрешением пройти «наверх».

В доме ничего не изменилось, мисс Хэвишем была одна.

– Ну? – сказала она, впиваясь в меня глазами. – Надеюсь, тебе ничего не нужно? Ты ничего не получишь.

– Нет, что вы, мисс Хэвишем! Я только хотел рассказать вам, что работаю исправно и помню, как много я вам обязан.

– Ну хорошо, хорошо. – Беспокойные пальцы зашевелились, как бывало. – Можешь иногда заходить. Приходи на свое рожденье… Ага! – внезапно воскликнула она, поворачиваясь ко мне вместе со стулом. – Ты что смотришь по сторонам? Ищешь Эстеллу?

Я действительно искал глазами Эстеллу и, уличенный в этом, выразил заплетающимся языком надежду, что она в добром здоровье.

– За границей, – сказала мисс Хэвишем. – Далеко, не достанешь; получает воспитание, подобающее молодой леди; еще похорошела; все ею восхищаются. Ты чувствуешь, что потерял ее?

Последние слова она произнесла злорадно, сопроводив их таким неприятным смехом, что я совсем растерялся и не знал, как отвечать. Впрочем, никакого ответа и не понадобилось,

потому что она тут же отпустила меня. Когда ореховолицая Сара захлопнула за мной калитку, я почувствовал, что меня пуще прежнего тяготит и мой дом, и ремесло, и все на свете; и больше ничего из моей затеи не получилось.

Огорченный и подавленный, я плелся по Торговой улице, заглядывая в витрины и придумывая, что я купил бы, если бы был джентльменом, как вдруг из дверей книжной лавки появился – кто бы вы думали? – мистер Уопсл! Мистер Уопсл держал в руке раздирающую трагедию «Джордж Барнуэл»[2], на покупку коей только что истратил шесть пенсов с намерением влить ее, всю до последнего слова, в уши Памблчуку, к которому он направлялся на чашку чаю. Чуть завидев меня, он, верно, решил, что само Провидение послало ему нового слушателя в лице несчастного подмастерья, и стал настойчиво звать меня с собой. Я знал, как тоскливо будет вечером дома, к тому же темнело рано, дорога была унылая и почти любой спутник предпочтительнее одиночества; поэтому я противился недолго, и, когда на улице и в лавках стали зажигаться первые огни, мы уже входили в Памблчукову гостиную.

Так как мне не довелось присутствовать ни на каком другом представлении «Джорджа Барнуэла», я не могу сказать, сколько времени оно обычно длится; но я твердо помню, что в тот вечер оно длилось до половины десятого и что, когда мистер Уопсл угодил в Ньюгетскую тюрьму, я почти потерял надежду увидеть его на виселице: с этого места ход его бесславной жизни окончательно замедлился. Я также уловил некоторую неосновательность в его жалобах, будто он гибнет во цвете лет, поскольку он с самого начала только и делал, что сох на корню, лист за листом. Однако всю эту скучную канитель еще можно было бы стерпеть. Что меня уязвило, так это упорное стремление Памблчука и Уопсла отождествить героя трагедии с моей ни в чем не повинной особой. Когда Барнуэл начал сбиваться со стези добродетели, Памблчук устремил на меня такой негодующий взгляд, что мне положительно стало стыдно. А Уопсл, казалось, всячески старался выставить меня в самом невыгодном свете. По его воле я, не переставая плаксиво причитать, зверски убил родного дядюшку, для чего у меня не имелось никаких смягчающих вину обстоятельств. Коварной Милвуд ничего не стоило меня переспорить; нежные чувства, какие питала ко мне хозяйская дочь, можно было объяснить единственно ее слабоумием; а что касается того, как я трусил и мямлил в роковое утро, могу только сказать, что от такого рохли ничего другого и ожидать было невозможно. Даже после того, как меня благополучно повесили и Уопсл закрыл книгу, Памблчук еще долго не сводил с меня глаз и все качал головой и приговаривал: «Вот видишь, мальчик, вот видишь!» Словно все давно догадывались, что я замыслил убить какого-то близкого родственника, если только он, по слабости характера, вздумает осыпать меня благодеяниями.

Когда эта пытка кончилась и мы с мистером Уопслом собрались домой, на дворе была темная ночь. При выходе из города нас окутал мокрый, густой туман. Фонарь у шлагбаума расплылся в мутное пятно и как будто сдвинулся со своего обычного места, а лучи его были словно полосы, измалеванные краской по туману. Рассуждая об этом и вспоминая, что туман всегда рассеивается, когда ветер, переменившись, начинает дуть с известного места на болотах, мы чуть не наткнулись на человека, который стоял, привалившись к будке сторожа.

– Э, да это Орлик? – сказали мы и остановились.

– Я самый, – ответил он, не спеша отделяясь от стены. – Задержался здесь, думал – может, дождусь каких попутчиков.

– А ты поздно возвращаешься, – заметил я.

На это Орлик, натурально, ответил:

– Ну что ж, и ты поздно возвращаешься.

---

[2] *…трагедию «Джордж Барнуэл»…* – «История Джорджа Барнуэла, или Лондонский купец» – трагедия Джорджа Лилло (1693–1739), родоначальника английской буржуазной драмы. Героя пьесы, подмастерья Джорджа Барнуэла, завлекает в свои сети бессердечная куртизанка Милвуд, под влиянием которой он грабит своего хозяина, затем убивает богатого дядюшку и вместе с Милвуд кончает жизнь на виселице.

– Мы, мистер Орлик, – сказал мистер Уопсл, еще не остывший после своей декламации, – мы сегодня наслаждались поистине высокими материями.

Орлик что-то пробурчал себе под нос, словно считая, что на такие слова отвечать нечего, и мы пошли дальше втроем. Я спросил его, все ли это время он провел в городе.

– Да, – отвечал он. – Я пошел сразу после тебя. Я тебя не видел, но, наверно, шел почти следом. А сегодня опять из пушек палят.

– С баржи? – спросил я.

– Да. Опять какая-нибудь пташка из клетки упорхнула. Как стемнело, так и начали палить. Скоро услышишь.

И в самом деле, не прошли мы и нескольких шагов, как памятный мне гул, приглушенный туманом, донесся до нашего слуха и тяжело раскатился по приречной низине, словно преследуя и пугая беглецов.

– Подходящая ночка для побега, – сказал Орлик. – Сегодня такую пташку на лету не подстрелишь.

Эти слова много чего пробудили в моей памяти, и я задумался. Мистер Уопсл, в роли неотмщенного трагедийного дядюшки, размышлял вслух в своем саду в Кемберуэле. Орлик тяжелой походкой брел рядом со мной, засунув руки в карманы. Мы шлепали наугад по очень темной, очень мокрой, очень грязной дороге. Время от времени гром сигнальной пушки снова нарушал тишину, глухо и грозно раскатываясь над рекой. Я молчал, погруженный в свои мысли. Мистер Уопсл покорно испустил дух в Кемберуэле, пал в бою на Босвортском поле и скончался в страшных мучениях в Гластонбери. Орлик несколько раз затягивал вполголоса: «Звонче звон, громче стук – Старый Клем! Не жалей крепких рук – Старый Клем!» Мне было показалось, что он выпил, но он не был пьян.

Так мы дошли до деревни. Путь наш лежал мимо «Трех Веселых Матросов», и нас удивило, что в такое неурочное время – было уже одиннадцать часов – там царит суматоха: двери отворены настежь, на дороге валяются схваченные впопыхах и снова брошенные фонари. Мистер Уопсл зашел узнать в чем дело (он предполагал, что поймали беглого каторжника), но тут же выбежал обратно на улицу.

– У вас дома какое-то несчастье, Пип, – сказал он, не останавливаясь. – Бежим скорей.

– Что случилось? – спросил я, бросаясь за ним вдогонку.

Орлик не отставал от меня.

– Я не совсем разобрал. Как будто кто-то вломился в дом, когда Джо Гарджери не было. Говорят, беглые. На кого-то напали, ранили.

Мы мчались так быстро, что разговаривать больше не пришлось, и остановились, только вбежав в нашу кухню. Она была полна народу; вся деревня толпилась в доме и на дворе; посреди кухни стояли, склонившись, наш лекарь и Джо, и несколько женщин. При моем появлении праздные зрители расступились, и я увидел сестру: неподвижная, бездыханная, она лежала на голых досках пола, сбитая с ног страшным ударом по затылку, который неведомая рука нанесла ей, пока она стояла, повернувшись к очагу; никогда уже больше ей не суждено было лютовать в этой жизни.

ГЛАВА XVI

Голова у меня еще гудела от Джорджа Барнуэла, и в первую минуту я готов был поверить, что сам причастен к нападению на мою сестру или, в лучшем случае, что подозрение должно в первую очередь пасть на меня как на ее близкого родственника, к тому же многим ей обязанного. Но уже на следующее утро, более трезво обдумав все происшедшее и послушав, что говорят люди, я стал смотреть на дело несколько разумнее.

В тот вечер Джо просидел со своей трубкой у «Трех Веселых Матросов» с четверти девятого до без четверти десять. В его отсутствие кто-то видел, как моя сестра, стоя в дверях кухни, поздоровалась с батраком, возвращавшимся с работы. Батрак этот не мог в точности сказать, в котором часу он проходил мимо нашего дома (когда его стали расспрашивать, он совсем запутался), но полагал, что это было еще до девяти. Воротившись домой без пяти десять, Джо застал жену распростертой на полу и сейчас же бросился звать на помощь. К этому времени огонь в очаге горел еще довольно ярко и нагара на свече было немного; впрочем, свечу кто-то задул еще до его прихода.

Никаких пропаж в доме не обнаружили. И в кухне все было в порядке, если не считать погашенной свечи (она стояла на столе недалеко от наружной двери и в минуту нападения, когда сестра хлопотала у очага, приходилась у нее за спиной); только сама сестра, падая, сдвинула и обрызгала кровью табуретку. И все же одна примечательная улика осталась на месте преступления: удары были нанесены в затылок и в спину чем-то тупым и тяжелым; затем, когда сестра уже упала ничком, в нее с силой швырнули каким-то тяжелым предметом. А поднимая ее, Джо увидел рядом с ней на полу арестантские кандалы с распиленным кольцом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.